



№ 9 • 1963



литературная рузия

10.335
1963/2

литературная рудзия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ ● ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СИМОН ЧИКОВАНИ. Пора сенокоса. Стихи. Перевод с грузинского А. Тарковского	3
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. Смерть старого пахаря. Рассказ. Перевод с грузинского Э. Ананиашвили	4
ЛАДО АСАТИАНИ. Песнь о Родине. Стихи. Перевод с грузинского Д. Самойлова	6
СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. Мой друг Гоча. Рассказ. Перевод с грузинского К. Коринтели	9
✓ ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Кура плеснет... Ночь полна поездами... Из «Итальянской тетради». Стихи. Перевод с грузинского Ю. Мориц и Ст. Куныева	12
МАМИЯ АСАТИАНИ. Сердце человека. Рассказ. Перевод с грузинского К. Гвритишвили	14
ШОТА РОКВА. Сердце, как солнце. Отчего порой... Стихи. Перевод с грузинского Вяч. Кузнецова	21
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ. Стихи о Грузии	22
ОРДЭ ДГЕБУАДЗЕ. Королева утренней зари. Приключенческая повесть. Перевод с грузинского М. Эсакия. Продолжение	23

КРИТИКА

ШАЛВА ГОЗАЛИШВИЛИ. Певец революции	48
СТАНИСЛАВ РАССАДИН. «Чужое вмиг почувствовать своим»	54
ТАТЬЯНА ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ. Наш современник — крупным планом	64
С. НАЦИАШВИЛИ. Энциклопедия грузинского искусства	68

См. на обороте

72-580

9

СЕНТЯБРЬ

1 9 6 3

ОЧЕРКИ

ИЯ МЕСХИ. Это было на Кавказе 70

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ГЕОРГИИ ГИГОЛОВ. Горький и Тархнишвили 76

В МИРЕ НАУКИ

ВАЛЕРИЙ ГОГУАДЗЕ. Экскурсия в органическую химию 86

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Глазами друзей 91



Редактор **МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

**И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (ответственный секретарь),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ (заместитель редактора), М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ, Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН,
Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Адрес редакции: Тбилиси, 7. Улица Махарадзе 14, телефон 3—44—08.

გეორგი ლეონიძე

Смерть старого пахаря

РАССКАЗ

Перевод с грузинского Э. Ананишвили

*«...И перед господом предстану
С горящею свечой в руках...»*

Важа Пшавела

Ни от кого не помнил зла плугарь Ниниа, не знало его сердце вражды. А если случалось кому вольно или невольно обидеть его — говорил:

— Сколько сынов человеческих ходит по земле, и у каждого свой толк, своя повадка. Разве всем в душу заглянешь?

Никогда не мечтал он о богатстве, не жаждал иных сокровищ, кроме золота выращенных им хлебов.

— Кабы все были богачами, кто бы вспомнил о бедняках? — говорил он.

И, окинув взором налитую ниву, шептал благоговейно:

— На тебя моя надежда!

Ни разу не захворав, дожил он до восьмидесяти лет. А на восемьдесят первом году стал терять силы — но смерти не испугался. Смерть Ниниа ни во что не ставил и думал о ней не то чтобы со страхом, а скорее с неохотой — точно так же не хотелось бы ему расстаться с теплой постелью, чтобы выйти из дому темной, ненастной ночью.

— Сказать по правде, не стоящая выдумка смерти! — молвил раз с горечью Ниниа, почувствовав стеснение в груди.

Но вот наконец явилась смерть, прилетела холодным ветром уцелый, сказала Ниниа «Здравствуй!», села рядом, так что проняло плу-

гаря холодной дрожью... И обхватила его костлявыми руками, чтобы уже не выпускать из своих цепких объятий.

— Пстой, пстой, смерть, повремени — отрасли сначала усы и бороду!

Так, шутками и смехом, встретил поначалу Ниниа незваную гостью. Потом разок-другой гаркнул на нее: «Убирайся, не пришла еще твоя пора!», и вина потребовал в постель, осушил полную чашу, чтобы враг не порадовался его беде и смерть не сочла его легкой добычей!

Соседи, пахари и погонщики, воспитанники Ниниа, не раз ходившие с ним под звездами на пахоту, навещали плугаря, рассказывали о том, о сем, старались развеселить его. Ниниа же все слабел, но не сломился, не пал духом.

— С чистым сердцем и спокойной совестью ухожу я из мира... Ни на кого не уношу с собой обиды, ни один человек не помянет меня лихом. Был я хлебопашцем — и ничего не нашл, только и возьму в могилу, что эту вот, рваную рубаху. Немало я избороздил, исчертил полей своим плугом! А теперь... Куда путь держу, где исчезну, с какими ветрами сольюсь?

И, приподнявшись на постели, попросил:

— Дайте на поля поглядеть!

Тотчас оба сына Ниниа подхватили его под руки и осторожно, почтительно вывели на балкон.

Уд горой виднелась деревня — дома рассыпались среди виноградников. Вдали голубели затянутые легкой дымкой горы. На одной из вершин чернели остатки старинной башни — от нее сбегали выбитые в скале ступени. А внизу расстилалась между Арагвой и Ксани неоглядная долина, перекатывались волнами спелые нивы. И неугомон-

ный ветерок шевелил, развеивал, волновал солнечное, сверкающее это платье матери-земли. Тихо шелестели тяжелые, налитые колосья...

Вон у подножья горы — Цилкани... Мухисджвари... Какая божественная царит тишина! Все словно замерло... Какой лад, какое согласие в природе!..

Солнце заходило... Хрустальный ветерок подлетел, играючи, к умирающему пахарю, коснулся ласковой прохладой его лба, потрепал свесившуюся серебряную прядь, как бы поцеловал ее...

Ниниа обвел с высоты медленным взором изобильные поля. Все здесь было мило его сердцу, жадно впивался он глазами в бурое золото зрелых нив, светлую зелень проросшей здесь и там травы...

Сладостное воспоминание тронуло его сердце. Он улыбнулся.

Двадцатилетним юношей впервые взялся он за плуг. И, значит, шестьдесят лет ходил за ним по борозде, пахал, возвращал хлеб, кормил народ!

— И что же — стану теперь золой и прахом?

Словно откуда-то издалека донесся до него грустный напев песни пахарей «Оровела». Слезы побежали на глаза Ниниа. Солнце опускалось. И понял Ниниа... Понял...

Сыновья почувствовали вдруг груз, отягчивший им плечи, взглянули на отца: Ниниа слился с природой, дыхание его растворилось в мире...

Величественно закатилось солнце, скрылось в пещерах ночи. Прозрачно-лиловой финифтью подернулось родное небо Ниниа, зацвело ночным фиалковым цветом.

Блеснул в вышине узкий серп молодой луны... Серебряная подкова...

Песнь о Родине

Двадцать лет назад, в жаркий июльский день 1943 года, ушел от нас молодой, на редкость одаренный поэт — Ладо Асатиани.

Жизнь его была коротка, но и за столь малый срок, отпущенный ему судьбой, Ладо Асатиани сумел достичь подлинного поэтического мастерства.

Ладо Асатиани пришел в грузинскую поэзию перед самой Отечественной войной. Обаятельный молодой человек, высокий, стройный, с необыкновенно красивым одухотворенным лицом и большими печальными глазами... Его стихи сразу же привлекли к себе внимание и вскоре завоевали горячую любовь читателей.

Истоки поэзии Ладо Асатиани — у берегов бурной Цхенис-цкали, в живописных горах Лечхуми, там, где он родился, где прошли незабываемые годы его детства. Ладо Асатиани рос в интеллигентной грузинской семье — родители его были педагогами. В доме Асатиани имелась хорошая библиотека. Маленький Ладо великолепно знал и народную поэзию — сказания, легенды, которыми столь богат этот уголок Грузии. Изумительная природа Лечхуми пестовала художественный вкус будущего поэта, она одарила его звучным, неповторимым голосом. Там, в Лечхуми, Ладо узнал и полюбил простых грузинских крестьян-тружеников.

Основная тема поэзии Ладо Асатиани — новая Грузия, ее народ, ее природа. Каждое его стихотворение согрето горячей любовью к Родине. С глубоким волнением воссоздавал Ладо и героическое прошлое Грузии. В грозные годы Отечественной войны эта тема была особенно созвучна великой идее защиты Родины.

Ладо Асатиани чуждо было всякое литературное паясничанье. Его стих подобен кристально чистым, прозрачным родникам Лечхуми. Поэзия Ладо Асатиани — светлая, мужественная, предельно эмоциональная, и вероятно, поэтому она так легко находит путь к сердцу читателя.

Двадцати шести лет от роду, полным творческих сил навсегда ушел от нас поэт и унес с собой множество невысказанных стихотворений, несущественных замыслов и стремлений. Но и то, что он успел оставить своему народу, стало подлинным украшением новой грузинской поэзии.

Публикуемые «Литературной Грузией» стихи Ладо Асатиани впервые переведены на русский язык.

Реваз Маргиани

Ладо АСАТИАНИ

РАССКАЗ ВАЖА ПШАВЕЛА

— Кто напророчил мне путь поэта
и слезы и муки дал в удел!..
Ужели рожден я, чтоб белому свету
только о боли стихами пел!..
Ужели ничто, кроме песен вещей
не облегчит мучений моих?
А почему к любой из женщин
Любовь свою превращаю в стих?..

В роду у нас не было стихотворца,
никто не пел о мудрости скал,
в детстве от деда, сурового горца,
я только сказки одни слышал.
А стих наш горский, а стих могучий
мне род грузинский в наследство дал.
Мой дед наездник был самый лучший
и с первой пули бил наповал.
Бил кабанов он напропалую
и диким мясом меня вскормил,
и потому свободу люблю я
и непокорен, как горный мир!
Помню, однажды, как будто нечаянно
дед меня ранил в теснине глухой
и убежал, и на крик мой отчаянный
он не вернулся, дед мой родной.
Он не вернулся — не мог возвратиться! —
чтоб мальчик смог горским мужчиною стать,
чтоб ненависть в песню могла превратиться
и громом хлынула мир изумлять.
Дед мой открыл мне двери природы,
открыл он их с болью тяжелой в груди,
он показал мне, как сердце народа
в песне правдивой поет и гудит.
Он научил любить свою землю,
ради которой пролита кровь, —
и слезы земли этой я приемлю,
земля принимает мою любовь.
И ранен я этой любовью в сердце,
я словно кварельским вином опьянен,
и некуда сердцу от песен деться,
и превращается песня в стон,
и превращается клекот мой в пенье,
клекот орлиный мой, клекот-юдоль,
а пенье от боли мое спасенье,
а пенье — еще острее боль.
Но раз напророчили путь поэта
и слезы и муки дали в удел,
если рожден я, чтоб белому свету
только о боли стихами пел,
если мученья мои бесконечны,
боль никуда ни упрятать, ни деть, —
там, на пороге природы извечной,
в стих превратить я сумею и смерть!..

С ДРУЗЬЯМИ ПИРОСМАНИ

Ах, дьявол, наверно, сегодня
опять взбудоражил вечер,
ворвался в мое вдохновенье,
как пьяница горький в марани, —
и я по тбилиским проулкам
мечусь, как осенний ветер,
ищу позабытые всеми
следы Нико Пиросмани.

Ходил он по этим проулкам,
скорей, возникал сновиденьем,
высокий, в потрепанном платье,
вселенский бродяга смолоду;
лелеял мечту о Тбилиси,
мечту о его возрожденье,
он — сердце одно сплошное,
он — совесть червонного золота.

И снова встают предо мною
суровые трудные годы:
встречают меня сазандары,
поэты уличной рвани,

слепые певцы и актеры —
 пасынки мертвой свободы, —
и дряхлые собутыльники
 художника Пиросмани.

И я говорю им: — Вы помните,
 вы помните, грустные дяди,
художника с детским ведерком
 и с кистями в длинном кармане?
Он был вашим другом и братом
 и пил он, быть может, вас ради;
О нем расскажите подробно,
 о нашем Нико Пиросмани!

«Нико наш мужчина был мудрый,
 но кровь замутил ему город —
замучил, ослабил, состарил
 и доброе сердце изранил.
Но стоило взяться за кисти —
 он снова могуч был и молод,
волшебником он становился,
 наш бедный Нико Пиросмани!

Смотрел он, как дети, застенчиво,
 и долго понять не могли мы,
о чем он мечтал и все думал,
 что сделать надумал с землею...
А как он любил эти улицы,
 Тбилиси наш, солнцем палимый,
Куру и плоты с бурдюками,
 и первую зелень весною!

А вот в середине лета,
 как солнце сжигало отавы
и мелкими становились
 Кура и Арагви, и Терек,
Он, словно олень, зарывался
 лицом в увядавшие травы
и тихо шептал: «Не могу я
 уехать в деревню — нет денег...»

Он не был красивым мужчиной,
 но был он мужчиной гордым,
и мы его все уважали,
 и мы его только любили.
Эх, бедный великий художник,
 он знал только трудные годы.
А нынче его все признали,
 а нынче его оценили...

Ах, если бы дожил он с нами,
 художник Нико Пиросмани,
сейчас бы он был в нашем городе
 из лучших художников лучшим,
и он написал бы все заново:
 и первых цветов расцветанье,
и новое небо Тбилиси,
 и новые зори и тучи!..»

Так улочки мне говорили
 за новым кирпичным кварталом.
Художника лик изнуренный
 встает надо мною в тумане,
и падаю я на колени
 и в свете предутреннем, алом
на каменных плитах проулка
 целую следы Пиросмани!..

Серго КЛДИАШВИЛИ

Мой друг Гоча

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Коринтели

Наша дружба началась не совсем обычно. В первый же день знакомства мы основательно отколотили друг друга. Зачинщиком ссоры был Гоча. Совершенно неожиданно он вдруг подставил мне подножку и сбил меня с ног. Но я не растерялся и вцепился в него. Мы долго боролись, бросая друг друга на землю, то он одерживал верх, то я. Наконец товарищи нас разняли. А через несколько часов, забыв о драке, мы с ним уже были друзьями.

Насколько я помню, причиной драки послужило то, что я обозвал Гоча головастиком. По совести говоря, я не погрешил против истины. У Гоча действительно была непомерно большая голова. Круглая, она казалась особенно большой на тоненькой шее. И каждый, кто видел Гоча впервые, наверно, заду-

мывался: а вдруг его шея не выдержит и переломится под тяжестью огромной головы.

Но Гоча привлекал внимание не только своей внешностью. У него были поистине золотые руки: за что бы он ни взялся, любое дело у него спорилось. Ржавая, выкинутая на свалку жестянка в его руках начинала новую жизнь, вновь приобретала былой блеск и в конце концов превращалась в какую-нибудь детскую игрушку.

Гоча был скуповат на смех, но уж если он смеялся — тогда держись: смеялся не только его крупный рот, — глаза его сверкали, он размахивал руками, топал ногами. Глядя на него и слыша его оглушительный хохот, окружающие невольно начинали смеяться вслед за ним.

И потом, много лет спустя, я с благодарностью вспоминал тот день, когда мы с Гоча так безжалостно колотили друг друга. Ведь именно тогда и завязалась наша дружба. Оказывается, в те минуты я приобрел лучшего друга, которого не променял бы ни на кого. У нас с ним было много общего. Он так же любил бродить по окрестным лесам и горам, как и я. Как и я любил приключения, любил мечтать.

Придумывал развлечения обычно я. Но мои выдумки облекались плотно лишь тогда, когда ими загорался Гоча.

Я был восхищен Гоча. Мне так хотелось заслужить его одобрение, его похвалу, пробудить в нем хорошую зависть. Ради этого я взбирался на макушки самых высоких деревьев, повисал на ветке высоко-высоко над землей. Не разбирая дороги, ветром мчался через поле; решался бог знает на какие отчаянные выходы, чтобы удивить Гоча. Но Гоча редко чему удивлялся.

Часто бродили мы с ним по лесу, собирали панту — мелкую лесную грушу, кизил, дикие орешки. Иногда мы взбирались на крутые склоны, сбрасывали оттуда в пропасть огромные валуны и юрали во всю силу своих легких, едва не заглушая грохот падающих камней. Это мы изображали дэвов.

Однажды, когда мы возвращались домой с подобной прогулки, я заметил на склоне дальнего холма хижину. Издали она казалась очень маленькой, чуть больше спичечного коробка. Время и непогода, видно, немало потрудились над ней — стены ее почернели, покосились. Вокруг не было видно никаких строений — только эта одинокая хижина.

Любитель метафоры нашел бы здесь широкий простор для своей фантазии и сравнил бы эту избушку с ястребом, который, паря на высоте, высматривает добычу, с обителью отшельника и кто знает с чем еще. А у меня тотчас мелькнула мысль, что это заколдованный замок. Конечно, я не медля по-

делился ею с Гоча. И как обычно он несколько не удивился.

— Тоже мне новость! А ты что? Я не знал до сих пор?

Тогда я сказал:

— В замке живет семиглавый дэв.

Однако и это известие для него оказалось не новым. Он подтвердил, что дэв действительно там живет, но укоризненно заметил:

— Ты плохо сосчитал. Он девятиглавый, а не семиглавый. Ему целый буйвол нужен на один завтрак. У этого злодея томится в плену красавица. Знаешь, какая она красивая? Такой в мире нет и не было!

— А ты почему знаешь, может она волшебница и явилась тебе в таком виде, в каком захотела. Я уверен, что она ведьма! — попытался я опровергнуть слова Гоча.

— Нет, она настоящая красавица. Я ее вблизи видел. У нее такие косы, что когда она их распускает, может закутаться в них с головы до ног. А волосы так и горят золотом, и от блеска их дэв слепнет и уже не может к ней приблизиться.

Некоторое время мы с ним препирались таким образом, стараясь перещеголять друг друга. Наконец, мы сошлись на том, что пленница дэва — это похищенное им счастье всего мира, что она — красавица из красавиц, самая нежная, самая добрая, справедливая, и когда она окажется на свободе, все люди станут счастливыми.

— Знаешь, — сказал я другу, — мы должны как-то вызволить ее из неволи!

— Я давно это задумал, — доверительно сообщил мне Гоча. — Если ты мне поможешь, я добыю своего.

— Да, но ведь это не такое легкое дело, как тебе кажется. Если у нас не будет войска, мы вдвоем не одолеем дэва!

На второй же день мы создали мальчишек, собрали армию. Потом нарезали ивовых прутьев, смастерили из них мечи, кинжалы, луки,

стрелы. Палки превратились у нас в лихих коней, и вооруженная таким образом конная армия была готова к бою. Полководцем, разумеется, избрали Гоча.

Путь к холму, на котором возвышался замок дэва, пролегал через узкое, глубокое ущелье. Мы пробирались по тропе с большой осторожностью. Мы должны были так подкрасться к замку, чтобы стража не заметила нас со стен и сторожевых башен.

Мы поднялись по склону и разбили лагерь у подножья замка. Ах, проклятый! Ты кажешься нам маленькой, старой хижинкой, дверь которой, словно подбитое крыло птицы, косо висит на ржавых петлях и качается от каждого порыва ветра. Ты нарочно принимаешь такое обличье, чтобы мы поверили, что за этой ветхой дверью не только нет никакой красавицы, но и мышь не пробежит по изъеденному временем полу. Но как бы не так! Нас не проведешь! Мы знаем, что ты заколдован, замок, и можешь являться в зрелом виде, в том виде, в каком желает твой властелин.

Где-то вдали прогрехотал гром.

— Слышите? Это храпит дэв. Мы должны перейти в атаку прежде, чем он проснется, — сказал Гоча.

Мы ползком пробирались через густой кустарник, обдирая о колючки ноги и руки. Только раз армия в замешательстве остановилась: на горизонте появилось дерево, отягощенное крупными спелыми сливами. Воины утолили голод падаюнками и только ухватились было за ветви дерева, чтобы их потрусить, как прозвучал приказ Гоча:

— Вперед! В атаку!

Мы обрушились на врага. Наша смелая и неожиданная вылазка, конечно, обескуражила стражу настолько, что все попрятались. Мы обстреливали стены замка из луков, ворвавшись во двор, рубили ме-

чами траву, швыряли из пращ камни в двери замка и подняли такой крик, что наши голоса, вероятно, слышны были внизу, в деревне.

— Все, кто жив и в состоянии передвигаться, следуйте за мной! — приказал полководец.

Он первым ворвался в замок, мы — за ним.

Хижина, конечно, оказалась пустой. Посреди, на полу, мы увидели что-то вроде очага — два камня и остатки золы.

Мы продолжали биться с невидимыми врагами, отрубили дэву все девять голов, взломали все девять замков, проникли в темницу, где томилась красавица, и освободили ее. Полководец поздравил нас с победой, похвалил за храбрость и героизм, проявленные в тяжелом бою, и мы с победой покинули поле битвы.

* * *

С тех пор прошло несколько десятков лет.

Я не видел Гоча с той далекой поры. Но я знаю, что он жив. Перед моими глазами стоит этот неукротимый парнишка, ныне уже возмужавший, но полный той юношеской романтики и энергии, которая делает возможными и реальными самые дерзкие мечты, воплощает в жизнь самые смелые взлеты, фантазии.

Такой, как он, не прошел бы по жизни бесследно. И всегда, думая о нем, я мысленно вижу его там, где шумят электростанции, и по каналам, прорытым в выжженных землях пустыни, бежит вода. А может, он покоряет космические просторы или бороздит воды дальних океанов, водит китобойные суда? Я не знаю, где он сейчас. Но твердо знаю одно: его золотоволосая красавица сопутствует ему везде и во всем.

Отар ЧИЛАДЗЕ

КУРА ПЛЕСНЕТ...

Кура плеснет воды и рыбы,
Травы и птиц подарит роща,
Луна, летящая над нами,
Покажет ночью путь попроще.

И гость, пришедший без лукавства,
Стихами будет причащаться,
Строкой, рожденной так неслышно,
Как дети без отца родятся.

И гость, без умысла пришедший,
Поймет, старик ли, мальчик юный,
Что означают для грузина
И свет Куры и отблеск лунный.

* * *

Ночь полна поездами, поездами полна.
Их дыхание смелое голову кружит.
И лесам и оврагам, лугам и полям
Их дыхание смелое голову кружит.

Я не знал, что минута настолько длинна,
Если ночь, у меня в изголовье стоящая,
Бесконечные мысли качает одна,
Как пустые, квадратные, серые ящики.

Не узнают другие, вовек не поймут —
Подневольно ли, вольно ли встретились наново.
Подневольно ли, вольно расстанемся наново —
Не узнают другие, вовек не поймут.

И качаются тени одна за другой,
И железо горит от жары и от холода.
И дороги — крест-накрест одна на другой
Не удержат протяжного крика и хохота.

Перевод с грузинского Ю. Мориц

ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕТРАДИ»

* * *

Все тянутся и все летят назад
усталые от ласки солнца нивы.
Обнявшись, тени темные лежат,
и прикрывают их собой оливы.

Лежат и удивляются они,
что солнце для прогулок неизменно
идет на небо... А уже вдали
дрожит на солнце древняя Сиенна.

Сиенна! На горячих площадях,
где тени в полдень протянулись косо,
ты прошлое развеяла, как прах,
рассеяла, рассыпала, как просо.

Воркуя, бродят голуби вокруг,
туристы пересчитывают мелочь.
А ты молчишь. И перед всеми вдруг
ты обнажаешь естество и немощь.

Давно забыта старая тропя.
Ты разлеглась под солнцем, словно лошадь.
Жуешь узду, и старая труба
тебя не встрепет и не встревожит.

* * *

Как черный парус в пеструю толпу
вошла монахиня, творя обеты
и твердо веря, что ее теплу,
ее земле не угрожают беды.

Монахиню едва ли убедить,
что человек сегодня выше бога,
что думает иначе, может быть,
из тысячи один — и это много.

В тени Везувия Помпеи прах
горит. Обнажены ее покровы.
Окаменевшие печаль и страх
с чуть слышным запахом истлевшей крови.

Для нас для всех приходит время стать
превыше бога, властвовать над небом,
напиться, насыщаться и дышать
своими воздухом, водой и хлебом.

* * *

В такие дни, когда жара плывет,
приносят пользу памятников тени —
веселый, древний, солнечный народ
находит отдых в полутемной сени.

Уставший от скитаний и дорог,
от беготни, от рыночного крика
подводит Рим сегодняшний итог
уже на грани завтрашнего Рима.

Мамия АСАТИАНИ

Сердце человека

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Гвритишвили

На лбу у нашей коровы была ярко-белая челочка. Словно белый лоскут, выстиранный искусными руками моей матери. Ведь на всей нашей улице никто не умел стирать белье так, как делала это моя мама. Когда она развешивала его после стирки, все соседки охали от удивления.

— Боже, что за руки у этой женщины! Как ей удастся так отбелить белье?!

— Верно, в золе вываривает!

— Может, в мыльной пене на ночь оставляет?

— Да нет, говорят, она собирает утреннюю росу с травы и добавляет ее в котел, когда кипятит белье.

Вот, что говаривали соседки.

И правда, когда мама развешивала во дворе белье, казалось, на веревке повисали гигантские хлопья снега.

А глажка? Сорочку, выглаженную мамой, можно было носить целых три дня, и воротник ее не мялся, словно был он шит не из ткани, а из жесткого листа рододендрона.

Белая челка нашей Кабелы так

завивалась и кучерявилась, словно бурная волна Риони пробежала и застыла между ее рогами. И сколько я не старался, не мог разглядеть эти завитки. Я и гребенкой расчесывал ей челку, и щеткой. Стащил раз у мамы деревянный гребень, потом у тетки выудил целых две новые расчески. Пообломал им всем зубья, но так и не смог пригладить непокорную шерсть. Наконец, попросил у дяди скребок. Попросил, потому что стащить что-нибудь у него было немислимо: все равно узнает и тут уж спуску не даст. Дядя мой сероглазый, и соседи говорили: весь мир, мол, перед ним трепещет. Ведь есть у нас в народе такое поверье, будто серые глаза — недобрые глаза.

Насчет всего мира — как сказать, но вот я и приемный сын дяди действительно его боялись. Да и немудрено: стоило нам задумать какую-нибудь проказу, как дядя тут же охлаждал наш пыл:

— А ну, голубчики, полегче! Вы ведь знаете, какой у меня прут припасен — разукрашу вам спины.

Сказать правду, дядя за всю жизнь ни разу нас и пальцем не тронул, но мы все же очень его боялись.

Дядиного приемного сына звали Гедеоном. Но так его только дядя величал, а все остальные называли Гедиа¹, Гедо. Светловолосый, светлоглазый, он действительно был красивым мальчиком, наш Гедиа. На грузина он совсем не походил. Да он ведь и не был грузином. Во время войны дядя нашел его в каком-то разрушенном, дотла сожженном польском городке.

Знаете, как это случилось? В одном из боев дядя был ранен, ему раздробило осколком бедро. В госпитале его немного подлечили, но на фронт не пустили — дали отпуск. Дядя поехал долечиваться домой. По пути он отстал от эшелона в одном городе. Как-то раз бродил он по разрушенным безлюдным улицам и вдруг услышал детский плач. Он пошел на голос, и видит: на груде обломков лежит маленький ребенок и плачет навзрыд. А вокруг — никого. Дядя подошел, поднял его на руки. На рубашке у него дядя заметил капельку крови. Оказалось, подмышкой у малыша были три родинки, и он расцарапал их ногтями. Мальчик, видно, изголодался. Дядя потом со смехом рассказывал: «Я, говорит, сунул ему в рот палец, а он мне его чуть не откусил, решил, что это бублик».

Вот дядя и взял ребенка с собой. Уж не знаю, как они путешествовали по трудным дорогам войны, но Гедеоном оказался у нас в доме и стал моим приемным братом. А соседи наши втихомолку шептались. Ведь из-за серых глаз многие относились к дяде с недоверием.

— Для того мальчишку и усыновил, чтобы показать, какой он хороший человек, — злословили кумушки.

Эти пересуды доходили и до дядиных ушей, но он не обращал на них никакого внимания. Только усмехается, бывало, в усы, и все. А

вообще-то дядя был хитер, как черт. Разок взглянет на человека и уже знает, о чем он думает.

Как-то раз мы с Гедо уговорились на следующий день забраться в соседний виноградник. Виноград только что созрел, но ведь всем мальчишкам хорошо известно, что фрукты и ягоды в чужих садах и виноградниках особенно сладкие и вкусные. Так вот, мы с Гедо тихонько шептались на балконе, обсуждая план действий. И видимо дядя услышал тогда наш разговор.

В те времена у нас в городе по обочинам всех улиц, кроме главной, росла трава чуть не до колен, а на окраинах и лужайки зеленели. И мы, ребятишки, пасли там скот.

На другой день мы с Гедо погна-ли нашу корову пастись, но только не на обычное место, а пригнали ее к соседскому винограднику. Вокруг росли колючие кусты, каждая колючка длиной с добрый гвоздь.

Мы прихватили с собой садовые ножницы. Корову привязали неподалеку, под орехом. И давай потихоньку выстригать ножницами колючки. Провозились мы до полудня, зато проделали в изгороди довольно широкий лаз.

Наконец вспомнили мы о корове и потгнали ее к лугу. Ведь под орехом-то и трава почти не росла, а мы и не подумали об этом. Бедная Кабела здорово изголодалась. А ведь если б мы пригнали ее домой голодную, дядя тотчас смекнул бы, что здесь что-то неладно.

К вечеру мы явились домой. Натаскали воды из колодца, напоили корову и пошли обедать.

Мама возилась на балконе. Вдруг я услышал дядин голос:

— Слишком уж откормили сегодня корову эти озорники. Того гляди, у нее брюхо лопнет.

Мы замерли. Гедиа побледнел. А я, если верить словам Гедиа, пожелтел, как лютик.

Но ничего страшного не произошло. Мама что-то ответила дяде, — я не расслышал. Дядя вскоре направился к себе. А мы с Гедиа помчались к калитке.

¹ Геди — по-грузински лебедь.

— Куда вы несетесь, оголтелые, — крикнула нам вдогонку мама.

— Мы там сочную траву нарвали и связали в снопы, принесем для Кабелы.

Мама только рукой махнула и ничего не сказала. Но едва мы распахнули калитку, как услышали дядин голос:

— Мальчики, садовые ножницы вам нигде не попадались?

У нас у обоих колени подкосились. Мы остановились было, потом снова рванулись.

— Вы что, не слышите? — опять окликнул дядя. — Я куда-то положил садовые ножницы и не могу отыскать.

Я толкнул Гедо; подмигнул ему — не слышим, мол, — и мы помчались так, что в ушах засвистело.

Солнце уже опускалось за холмы, когда мы с Гедиа ползком пробрались в виноградник.

— Погляди-ка, — шепнул мне Гедиа, указывая на сливу. Я посмотрел и увидел, что дерево усыпано крупными спелыми плодами. Не мешкая, я взобрался на дерево, а Гедиа принялся за виноград.

Мы уже основательно запаслись плодами, когда вдруг с противоположного конца виноградника послышалась чьи-то шаги.

Я поспешно съехал с дерева, и мы ползком добрались до нашего лаза. Гедиа опередил меня и вылез первым. А я едва просунул голову наружу, как вдруг позади грянул выстрел. Мы с Гедиа тогда еще в коротких штанах бегали. И одновременно с выстрелом я почувствовал, как икры мне ожгло горячими угольками. Я догадался, что это дробь. Несколько дробинок попали мне за ворот рубахи и закатились за пазуху. Кое-как я выбрался из проклятых колючек и пустился наутек. Бегу и удивляюсь: я ведь ранен, но не падаю. Но больше всего удивляло меня, что дробь не вонзилась в тело, а безобидно болталась в рубашке.

Около кладбища я остановился, вытряхнул из карманов сливы и бросился на траву.

— Меня ранили, — простонал я.

— Что?.. — Гедиа опешил.

— Грудь, живот, ноги — все горит в огне.

Гедиа осмотрел меня и вдруг как захохочет! Я обиженно поглядел на него, потом заглянул в вырез рубахи и увидел... мелкие зерна белого лобно. Гедиа вытащил из-за пояса моих штанов подол рубашки, и лобно посыпалось на траву.

— Вот тебе и дробь! — Гедиа хохотал.

Я покраснел до корней волос. Так вот, чем по нас стреляли! И вдруг весь я как-то расслаб.

Часа два мы валялись на траве. Ни один из нас не дотронулся ни до слив, ни до винограда. Мы оставили все наши трофеи на траве и, как побитые щенки, побрели домой.

У калитки стоял дядя. В руках у него были садовые ножницы, те самые, которые мы, спасаясь бегством, забыли на месте преступления.

— Ну-ка, разбойники, признавайтесь, чьи это ножницы? Так-то, голубчики, — сказал он, наглядевшись на наши растерянные физиономии. — Меня не проведете, запомните это.

А в другой раз мы еще хуже влипли. Я и Гедиа решили отколотить соседского мальчишку. Мальчишка этот был нашим ровесником. Учился он не в нашей школе, а в соседней, но мы отлично знали, что его мать никогда не вызывают педагоги. Одевали его нарядно, красиво. А мы с Гедо щеголяли только латками да заплатками.

По утрам мы ходили в школу в одно и то же время. Он проходил мимо нас, опустив голову.

— Ты видишь, как он задирается, этот сопляк, — сказал мне однажды Гедиа.

— Давай-ка, отколотим его, — предложил я. Но Гедиа отнюдь не загорелся этой идеей. Он долго молчал, о чем-то раздумывал, потом сказал:

— Знаешь что, мне кажется, этот тип вообще большой.

— Ты что, рехнулся, что ли? Придумал тоже! Погляди, какой он

розовый и толстый — словно откормленный поросенок.

— Вот потому и говорю, что он болен.

— Да ну тебя! Очень уж ты жалостливый!

В конце концов мы все же решили его отдубасить.

У одного мальчишки в нашей школе был заржавленный кастет. После долгих просьб он нам его одолжил. И вот дома, когда мы с Гедиа, придя из школы, несли в горшке песок, чтобы начистить кастет, перед нами вдруг появился дядя.

— Что это у вас, птенцы? — поинтересовался он.

— Нашли, — не растерялся Гедиа. — Сейчас мы его почистим как следует, чтобы блестел.

— Он из латуни, — спокойно отметил дядя. — Если угодит в висок, убьет наповал.

Дядя оглядел нас с ног до головы и, ни слова не сказав, ушел прочь. А мы испуганно уставились друг на друга.

— Давай бросим эту затею, пойдем лучше купаться на реку, к Нацихари, — сказал наконец Гедо.

Я ничего не ответил. Но в душе согласился с Гедо. Однако, только я распахнул калитку, вдруг вижу — идет этот мальчишка. И рядом с ним девочка, на которую мы были злы с тех пор, как она отвернулась от нас с Гедиа, скорчив презрительную рожу.

Видели бы вы, как они шли! Под руку! Словно взрослые. Это было ново. Это было невероятно. Нам меньше удивил бы гром с ясного неба, чем эта девочка с этим мальчишкой, да еще под руку!

— Вы только поглядите на них! — изумленно воскликнул Гедиа.

— Ого-о! — протянул я.

Они слышали наши голоса и приостановились. Но потом, верно почувствовав на себе наши враждебные взоры, поспешно зашагали прочь.

— Что, испугались? — с угрозой крикнул я вслед. Вдруг Гедиа дернул меня за рукав. Я оглянулся.

Дядя, прищурившись, глядел на нас издали.

Мы караулили их весь день. Правда, кастет мы решили не применять после дядиных слов.

Было уже часов пять вечера, когда они вновь появились в нашем переулке, и опять рука об руку.

Мы решительно выступили вперед и вскоре поравнялись с ними.

Девочка что-то тихо сказала мальчику, и это нас еще больше раззадорило.

— Здравствуйте, — приветствовал нас соседский мальчик.

Девочка внимательно оглядывала нас обоих.

— Ты смотри, они еще смеются над нами, — шепнул мне Гедиа. И стукнул вдруг, только не мальчишку, как мы уговорились, а девочку.

Она вспыхнула, покраснела. Губы у нее задрожали.

— Я думала, вы хорошие мальчишки, а вы, оказывается... — сказала она.

— Что? Смотри-ка! Да не ты ли сама первая нос задираешь? Или может, скажешь, что и не помнишь, как рожу нам скорчила?

— Я? — удивилась девочка. — Мне вы всегда нравились. И я знаю даже, что вы хорошо учитесь.

— Оставь его в покое, — невозмутимо сказал ей соседский мальчишка. — Они всю жизнь живут на нашей улице и еще ни разу не заговорили со мной.

— А зачем он ударил меня, чего он хочет?

— Пацура, помолчи лучше!

Оказывается, ее зовут Пацурой.

— Знаешь, как мне больно, Зурико! — возразила ему Пацура.

Вдруг Гедиа дернул меня за рукав. Я оглянулся и обмер. У калитки стоял дядя. Мы были далеко от него, но я все же ощутил на себе пронизывающий взгляд его прищуренных серых глаз. Дядя направился к нам.

— Здравствуй, Зурико! — подойдя к нам, ласково приветствовал он соседского мальчишку и внимательно оглядел Пацуру. — Неужели ты — Пацура? — удивленно вос-

кликнул он. — Как ты выросла, девочка! — И он ласково обнял ее за плечи.

— Знаете, разбойники, кто эти ребята? — обратился к нам дядя.

Мы не смогли вымолвить ни слова. Потом сорвались с места и вмиг очутились во дворе. Вскоре пришел и дядя, а с ним Зурико и Пацура.

— А ну, познакомьтесь, — обратился к нам дядя. — И помните, что в свое время ваши отцы и я в один день ушли на фронт и целый год воевали вместе, плечом к плечу. Когда в одном из боев я получил тяжелое ранение, отец Зурико целых пять километров тащил меня на своих плечах и спас мне жизнь. Через три месяца мы снова сражались вместе. Потом погиб отец Пацуры, а вслед за ним и твой отец, мой мальчик, — обратился он ко мне. — Отец Зурико, вернувшись домой, не забыл о дочери погибшего друга. Он до сего дня не перестает о ней заботиться. Понимаете теперь, как обстоит дело? А вы ссориться вздумали!

Теперь-то мы понимали, но как стыдно было нам перед Зурико и Пацурой, а еще больше перед собой! Я целую неделю не спал, все думал о том, что рассказал дядя. Гедиа признался мне, что ему тоже не спится.

Больше об этом случае мы не говорили.

* * *

Судьба Гедии оказалась, однако, намного сложнее нашей. Впрочем, всему виной беспокойный характер моего дяди.

Когда дядя нашел Гедиа на пожарище, он решил отыскать его родителей.

— Жалко мне стало ребенка, решил — возьму его пока, а там и родителей разыщу. Столько бомб было сброшено на этот несчастный город, что и камни горели, словно политая керосином шерсть; разве можно было бросить там малыша? — говорил дядя.

С большим трудом выяснил он название города, улицы, где жил мальчик. Когда ему говорили — для чего тебе все это, — он отвечал:

— Ведь отец и мать мальчика, если они остались в живых, не знают покоя. И поэтому все, что мог разузнать о мальчике, я записывал; по крайней мере, раза три в год я писал властям того города, навел справки... Перед Гедеоном я чист — я делал все, чтобы найти его родителей. Ну, а уж они сами за себя отвечают. Если не хотят, пусть не берут моего Гедеопа. Сказать правду, так самый несчастный из всех нас — я. Состарился без жены, растил мальчика, привязался к нему, как к родному, а ведь если отыщутся его родители и заберут его, останусь я бобыль бобылем. Но что делать! Иначе поступить я не мог.

Пятнадцать лет искал мой дядя родителей Гедиа и наконец нашел. Представляете, каково: вырастить такого взрослого парня и в один прекрасный день его у тебя отнимают!

Все мы были уже студентами. Я и Гедиа учились на физическом факультете, Пацура и Зурико — в мединституте.

И вот, сдав весеннюю сессию, я, Гедиа и Пацура приехали домой. У Зурико были какие-то дела в Тбилиси, и он задержался на несколько дней. Дядя на радостях открыл большую бутылку с моим любимым вином, созвал соседей, и вскоре мы сидели за веселой трапезой.

Уже за вечерело, когда к нашему дому подъехала легковая машина. Высокий, хорошо одетый человек с приятными чертами лица вошел во двор и на ломаном русском языке спросил, где можно видеть Андре Арчвадзе. Все мы сразу посмотрели на дядю. А дядя, едва взглянув на гостя, побледнел. Знаете, я никогда не помню, чтобы дядя бледнел или так терялся.

— Он поляк, — только и всего, что сказал дядя, да так тихо — я с трудом расслышал эти слова.

Незнакомец внимательно разгля-

дывал всех нас, но особенно приставившись к Гедиа. Так и впился в него взглядом. Потом вдруг тоже вбегнул и пробормотал что-то — видно, по-польски.

Во двор вслед за ним вошла девушка лет шестнадцати-семнадцати, видно, его дочь. Она была какая-то необыкновенная. Таких красавиц увидишь, пожалуй, только на рисунках.

Она стояла возле отца и во все глаза разглядывала Гедиа. А какие у нее были глаза! Словно небо отдало им свою нежную лазурь и глубину.

— Отец, это мой брат! — с сильным акцентом проговорила она по-русски и направилась к Гедиа. Нет, она не шла, а летела, как легкий ветерок, и, приблизившись к Гедиа, обвила руками его шею.

Гедо дрожал, словно в ознобе, и с тревогой глядел на дядю. Я услышал за спиной чье-то дыхание и оглянулся. За мной стояла мама.

— Что ты натворил, дорогой деверь! Что ты наделал, а? И себя погубил и нас! Как я должна отпустить с ними моего Гедо? Что теперь со мной будет!

Дядя покачнулся, словно его кто-то сильно толкнул. Потом, положив руку на плечо матери, сказал:

— Ничего, родная. Счастлив тот, кто принесет радость хоть одному человеку на этом свете. А мы с тобой принесли радость целой семье.

Отец Гедо, видимо, понял, какие чувства переживала моя мама. Он подошел к ней и почтительно склонил голову.

— Будет так, как пожелаете вы и мой сын. Если вам угодно, он останется с вами. Мне достаточно и того, что мой Зигмунд жив и, как я вижу, вырос достойным человеком. — Оказывается, Гедо там, на родине, звали Зигмундом. — Он, конечно, мой сын. У моего Зигмунда под мышкой были три маленькие родинки; сними-ка сорочку, сын мой. Все в жизни нужно подтверждать фактами.

Гедо впервые посмотрел отцу в глаза.

— Почему же вы не искали меня так долго?

— Значит, есть у тебя под мышкой три родинки? Ты унаследовал их от матери, Зигмунд. Почему я не разыскивал тебя столько времени, говоришь? Я расскажу тебе, почему, расскажу, и ты поймешь все, что случилось.

В ту ночь отец Гедо поведал нам, что пришлось ему испытать. Его история не была какой-то исключительной — он разделил судьбу многих поляков, угнанных в фашистскую неволю. А наш Гедо остался в родном городе только потому, что в тот день, когда забрали его родителей, он находился у тетки — сестры матери. Тетка его, одинокая женщина, погибла во время бомбежки, и ребенок очутился один в разрушенном опустевшем городе. А отец и мать Гедо бежали потом из концлагеря, попали к американцам и много лет не имели возможности вернуться на родину.

— А теперь, сын мой, я, мама и твоя сестра, которая родилась уже после войны, живем в Варшаве. Мама очень страдает, тоскует по тебе, часто болеет. Что еще я могу тебе сказать, сынок... — закончил свой рассказ отец Гедо. — Теперь будет так, как решите ты и эти люди, твои вторые родители. Я сейчас счастливейший человек на свете. И это счастье никто уже не сумеет у меня отнять: я видел моего сына, моего Зигмунда; ты жив, здоров, а больше мне ничего не нужно. — Он умолк и отер слезы. Мама, Пацура и Гедо плакали. Дядя, опустив голову, молча стоял подле них.

В тот вечер дядя был особенно внимателен и предупредителен к маме.

— Так оно, невестушка, и бывает: когда дети вырастают, они уходят своей дорогой. Наш Гедо нас не забудет, я думаю. А все же главное не в том, — сказал он ей.

— Что это ты затвердил — главное не в том? Может, объяснишь, в чем же главное!

— Когда умирал мой брат, все мысли его были о сыне. Я никогда

не забуду глаз моего брата. Он уже не мог говорить, жизнь уходила от него. Жили только его глаза. И эти глаза молили об одном — «Мой сын! Не оставь моего сына». Когда я увидел впервые Гедеона, я вспомнил глаза моего брата. Я подумал о родителях этого ребенка и поднял его с земли. А уж когда взял на руки, не смог бросить. Было очень тяжело, было голодно — но я уже не мог его никому отдать. И не женился я из-за Гедо — кто знает, как стала бы относиться жена к чужому ребенку! Помнишь, сколько ты меня уговаривала — женись, обзаведись семьей. Что ж, теперь мой приемный сын и мой племянник — оба взрослые. Они выросли честными людьми. А взгляни на отца Гедеона. Видела ли ты когда-нибудь такое счастливое лицо? Пусть теперь говорят, что раз у меня серые глаза — я недобрый человек.

— Эх, хоть бы такие глаза и такое сердце были у каждого! — со вздохом сказала мама.

* * *

Я и Гедо в ту ночь спали на одной постели. Мы долго не могли уснуть.

— На кого я больше похож? — неожиданно спросил меня Гедо. — На родного отца или на приемного? Я задумался. Вопрос его был странным, но я понял, что он хотел сказать.

— Характером, наверно, больше на дядю, а лицом на отца, — ответил я.

Правда, Гедо и отец его были очень похожи. Телосложением, ростом, даже походкой Гедо походил на отца.

Наутро дядя пригласил соседей, друзей и устроил такой пир, что только птичьего молока не доставало.

Мама, подоив корову, принесла нам кувшин парного молока.

— Гедо, скажи сестре, пусть попробует молоко нашей коровы.

Правда, нет уже Кабелы, но ее потомство не хуже ее самой, — пошутила мама.

Сестра Гедо с удовольствием выпила целый стакан парного молока.

— Правда, очень вкусно, — с улыбкой сказала она. И я заметил, она взглянула на меня.

У Пацеры, которая сидела ту же, засверкали глаза.

Глупая! Правда, сестра Гедо — очень красивая, но единственной красивой девушкой на всем свете была для меня Пацера, — я любил ее. И мы, втайне от всех, решили никогда не расставаться друг с другом.

Гости пробыли у нас неделю.

Мы с Гедо, как когда-то в детстве, выгоняли корову пастись. Теперь уже улицы нашего города покрывал асфальт, травы по обочинам мостовой не осталось и в помине. Мы уходили в Гегутские луга и проводили там весь день. Часто и дядя шел вместе с нами.

Дядя все это время здорово держался, стараясь не показывать, как ему тяжело. Только как-то раз я проснулся среди ночи, вышел во двор и вижу: под тутой сидит дядя и сам с собой разговаривает, в руках у него какой-то квадратный предмет, то ли кусок картона, то ли лист плотной бумаги. Я прислушался.

— Ведь я правильно поступил, а, парень? Я выполнил твою просьбу, выполнил свой долг перед тобой, перед мальчиком...

Я тихонько подкрался к нему, чтобы посмотреть, что у него в руках. Это был портрет моего отца. В ту ночь я больше не уснул. Я все никак не мог понять, почему соседи говорят о моем дяде: у него серые глаза — недобрые глаза. Если б все люди были такие, как дядя, наша жизнь, наверно, стала бы еще лучше. Красивее. И люди были бы счастливее.

Эх, хотел бы я прожить жизнь так, как прожил ее мой дядя.



Шота РОКВА

СЕРДЦЕ, КАК СОЛНЦЕ

Если я уйду из дома
в горы, справлю новоселье, —
я вернусь весенним громом,
голубым дождем весенним!

Ну, а если вдруг завьюжит
и, как чайки, на рассвете
хлопья белые закружат, —
это я пришел, как ветер.

Если солнца слиток ляжет
у окна, под старой ивой,
то не солнце — это я же,
я, тобою нелюбимый.

Не могу я не вернуться!
Ну, ответь, не будь же хмурой,
кем, скажи мне, обернуться —
ветром, солнцем или бурей?

* * *

Отчего порой чуть не плачу я,
заглядевшись в лицо твое строгое?..
Мое сердце,
как солнце,
горячее,
твое сердце,
как солнце,
далекое.

Никогда улыбка не меркла бы,
если б душу ты не коверкала.
Пред тобою я чист, как зеркало,
ну а ты — холодна, как зеркало.

Перевод с грузинского Вяч. Кузнецова

Вячеслав КУЗНЕЦОВ

Стихи о Грузии

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ

Всесильным солнцем рождено,
с гранитных рыжих круч
тугой волной течет вино
студеной синих туч.

Ни хлеб,
ни винограда гроздь
его не сотворят:

в нем — искры звезд и привкус гроз,
в нем бури аромат!

С ладоней скал,
из горных чаш
я пью его взахлеб,
и снов космический мираж
к утру мне студит лоб.

МУЖЕСТВО

Идущим к вершинам

Проходят грозы и ливни,
камни ворочая глухо.
Пики стоят, словно бивни,
скалы, как зубы старухи.

Но к неприступным кручам
идут, минуя лавины,
в упорстве своем могучем
люди
с сердцем орлиным.

Внизу —
пещеры, как норы,
гряды ледников бело-синих,
реки, что пилят горы,
камни дробя в теснинах.

За облачным пенным валом,
где только белесые клубы,
за кромкой грозных обвалов
упрямо стучат ледорубы.

...Кто был в лагерях альпинистских,
тот позабудет не скоро
светлые обелиски —
надгробья ушедшим в горы.

Высокогорный ветер
шепчется в буковых кронах.
Словно само бессмертье
стоит у вершин покоренных.

КАМНИ

Это басни, что камни молчат.
Где молчат они?
На могилах?..
Если сердце слушать их в силах,
камни плачут,
камни кричат.
Где молчат они?

В дымных руинах?..
На вершинах гор, на равнинах
камни стонут,
камни кричат.

Глухота наша —
вот их щит.
Мы берем их глухими руками.
мы дробим их,
граним веками.
Камень терпит,
камень молчит.
День встает, клубясь облаками;
ты права:
я молчу, как камень,
но не думай, что сердце молчит.

Королева утренней зари

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского М. Эсакия

— Руки вверх! — раздался внезапно их возглас.

— С места не сходить! — спокойно добавил я, выходя из своего укрытия. Красивый стройный мужчина, оказавшийся сзади, резко обернулся на мой голос, но увидев мой взведенный «парабеллум» застыл. Вслед за ним повернулся и второй. Они глядели друг на друга, не понимая, что происходит. Ни один из них не поднял рук, но и о сопротивлении они не помышляли. Наши револьверы достаточно ясно выражали, что им не удастся даже пошевелить рукой. Безмолвный диалог двух соучастников, которые спрашивали друг друга глазами: «Сдаться или умереть?», — закончился. Игорь, словно протрезвившись от сна, покачал головой, это значило, что он решил жить. Пока человек жив, он может надеяться на спасение.

— Вы слышали: руки вверх! — грозно повторил наш орджоникидзеvский коллега и нацелил свой револьвер в лоб Игорю.

Оба дружка нехотя подняли руки. Владимир вытащил из кармана Игоря «браунинг». У Стася оказался «наган» — как раз того калибра, которым был произведен выстрел в затылок Зинаиды Кантакузен. Система револьвера, рост Стася — все доказывало, что убийцей был именно он. Сознание мое работало четко и быстро, факты сопоставлялись один с другим, выводы оказывались ясными и бесспорными.

Скоро «кадиллак» орджоникидзеvского угрозыска увез Таманова и Стася. Мы приступили к обыску квартиры Зубиной.

Хозяйка снова уложила младенца в колыбель, а сама без сил опустилась на кушетку. Ее умные глаза свидетельствовали, что она все поняла, что ей ясна судьба мужа, который оказался в западне, хотя она сама и не знает — за что и почему. Обстоятельства сложились так, что она оказа-

ласть в одном кругу с преступниками, которых только что увезли на «кадиллаке» в тюрьму.

Мне жаль было эту честную женщину, которая по неосторожности и доверчивости оказалась втянутой в темную историю.

— Вы хотите скрыть от меня, что Борис... — она сделала над собой усилие, но не смогла закончить фразу. «Рано или поздно, но она должна узнать», — подумал я и договорил за нее:

— Борис Саидов — преступник, теперь он разоблачен и арестован. — Приблизившись к ней, я успокоительно пожал ей руку: — Ничего не поделаешь, может быть, они и вас втянули бы в свои дела, если бы мы не подоспели.

— Неужели Борис... Хотя, верно, так и есть, ведь иначе вы... — Она провела языком по пересохшим губам. Потом посмотрела на ребенка, словно он мог разделить неожиданно свалившееся на нее горе, и вздохнула.

— Поверьте, вы сами виноваты во всем, — сказал я и посмотрел на своих товарищей. Судя по всему, они тоже не сомневались в порядочности этой женщины.

— Моя вина лишь в том, что я доверилась своим глазам, — вздохнула женщина и поднялась с кушетки. Она старалась спрятать от нас полные слез глаза. — Но теперь уже поздно, делу не поможешь... — Ольга Петровна долго стояла, не двигаясь, потом посмотрела в нашу сторону, словно хотела сказать: «Чего же вы еще хотите от меня, не хватит мне моего позора?»

— Мы должны обыскать квартиру, — сказал я.

Зубина медленно приблизилась к нам. Видно было, что она не может больше выдержать ударов судьбы, так неожиданно обрушившихся на нее. Умоляюще и испуганно глядя на меня, она попросила:

— Пусть хоть соседи об этом не узнают. Иначе я не смогу жить в этом городе...

— Невозможно. Нужны свидетели.

— Тогда я приведу свою двоюродную сестру. Она живет тут же, в двенадцатом номере. — Схватив с вешалки шаль, она выбежала за порог. Хотя это и было против правил, я не стал ее задерживать, лишь знаком приказал товарищу из Орджоникидзе, чтобы он следовал за ней.

Скоро Ольга Петровна вернулась в сопровождении женщины одних с ней лет. Обыск начался.

Мы не смогли обнаружить ничего подозрительного, только за ширмой нашли туго набитый кожаный рюкзак. Я вынес его в переднюю комнату, и положил на стол. Владимир осторожно расстегнул завязки. Заглянув в рюкзак, я решил, что он полон всякими дорожными вещами. Пачка платков, носки, полотенце, смена белья. Под ними рука нащупала что-то тяжелое. Револьвер... Обоймы с патронами.

И без того бледная хозяйка, увидев это, стала похожа на покойницу.

— Чей это рюкзак?

— Игоря, Игоря Таманова, — нерешительно ответила она и испуганно посмотрела на свою родственницу. Мне почему-то вспомнилась Раиса, которая тоже не могла произнести без страха имя Игоря.

Под обоймами я нашел завернутую в кусок черного бархата книгу. Раскрыл ее. Библия! Револьвер, патроны и библия... Книга, видать, была читаема очень часто. Я невольно засмеялся.

— Для чего убийце божественная книга!

— Грешник должен молиться, замаливать грехи, а безгрешному человеку и просить не о чем, — пошутил Владимир.

Я снова опустил руку в рюкзак и вытащил что-то, завернутое в бархат, только на этот раз кизилового цвета. Сверток оказался короче и толще, чем библия. Это была шкатулка, черная, как вороново крыло, и бле-

стящая, словно морская гладь, освещенная заходящим солнцем. Крышка была обита по краям золотом. Посередине — картина Репина: Иван Грозный прижимает к груди окровавленную голову насмерть раненного сына. Внимательно осмотрев рисунок, я откинул крышку. Из шкатулки на меня брызнуло каким-то фантастическим светом, переливавшимся всеми цветами радуги. Я выпустил шкатулку из рук, словно это было раскаленное железо.

— Боже, что это? — воскликнула пораженная хозяйка и посмотрела на нас такими глазами, как будто именно ее уличили в преступлении.

Не отвечая, я снова взял шкатулку и попытался вытащить таинственный предмет из шкатулки, но не смог.

— Драгоценный камень, — воскликнул Владимир.

— Граненый алмаз... Бриллиант, — проговорил я, вытаскивая из шкатулки тонкую тетрадку листов в 5 или 6.

— О чем там написано? — заинтересованно спросил следователь орджоникидзевого угрозыска.

— Должно быть, история этого бриллианта, — ответил я и попросил хозяйку включить свет.

Обыск закончился. Кроме лакированной шкатулки не было найдено ничего, достойного внимания. Присев к столу, я раскрыл тетрадку.

«Чего только не видел, чего не пережил я за эти три столетия, — так начиналась история драгоценного камня, записанная чьим-то красивым, ровным почерком со старомодными завитушками. — Но мне все еще кажется, что я появился на свет только вчера и ничего еще не видел. Долго суждено мне жить, и все это время на моих глазах будут совершаться преступления ради меня. Я — не знаменитый «Кулинан», который ценится в девять миллионов фунтов стерлингов, и не «Великий Могол», и не «Звезда Востока». По величине я на два карата меньше «Египетского паши», но все же меня признают лучшим среди лучших. Я совершенно прозрачен, и ни один камень не сравнится со мной по привлекающему глаз блеску и неповторимой игре цветов. Называют меня «Королевой утренней зари».

Кто дал мне это имя?

Нашел меня голодный, отощавший негр рано утром, на заре. И господин этого негра назвал меня этим именем, дав за меня своему рабу три кокоса.

Родился я в Южной Африке.

Мои предки впервые появились в тринадцатом столетии, а я попал в цивилизованное общество с опозданием на триста лет.

Испанский вельможа обменял меня у моего владельца на десять мешочков золота и два корабля с невольниками. Кто сосчитает, у скольких прославленных военачальников факелом горел я на эфесе сабли. Вельможи и военачальники потому охотились за мной, что считался я красивейшим среди самых известных и прославленных благородных камней. Я был крепче камня, железа и стали, одним словом — крепче всего, что было создано до меня природой и человеком. Только твердый алмаз способен нанести царапину на мои грани.

Подлинное имя мое — адамант, оно дано мне в глубокой древности греками.

Феодалы и полководцы ничего не жалели, чтобы добыть меня и чтобы сиял я на их мечях символом мощи и непобедимости. Сколько голов слетело с плеч только потому, что они пытались усладиться моим блеском, — трудно сосчитать. Много лет и десятилетий переходил я из рук в руки, от одного владельца к другому.

Австрийский император Иосиф II представил меня «Северной Семи-рамиде» — Екатерине II. Это был первый случай за все время моего существования, когда я переменял владельца без крови и золота, по доброй воле своего хозяина. Множество бриллиантов было насыпано вместе со мной на золоченом, украшенном слоновою костью ломберном столике императрицы. Но все в один голос говорили обо мне: «Он самый красивый и дорогой!»

Долгое время не расставалась со мной царица. Но когда ее фаворит Григорий Александрович Потемкин сумел одержать победу в войне и присоединить Крым к России, она пожаловала ему вместе с титулом светлейшего князя Таврического и меня. Так второй раз перешел я из рук в руки без преступления и торга.

После смерти Потемкина-Таврического я снова вернулся к прежней владелице и сиял над ее изголовьем до последних дней. Наследник ее Павел I взял меня в свою казну раньше, чем успел взойти на престол.

Два года озарял я своим солнечным светом царские четки. Но затем император почему-то разлюбил меня и запрятал в свой сейф. Там я находился взаперти до 1808 года, пока Александр I не вызволил меня и, уложив на бархатную подушечку, не взял меня с собою в Эрфурт, где должна была состояться его встреча с Наполеоном. Там русский император в знак дружбы и расположения самолично приколол меня к эфесу сабли Бонапарта.

Но переменчива моя судьба. Недолго пробыл я во Франции. Маленький корсиканец, ставший повелителем всей Европы, преподнес меня в том же году своему верному маршалу Иоахиму Мюрату, которого сделал неаполитанским королем. Мюрат высоко ценил дар своего господина и не расставался со мной во время многочисленных походов неаполитанской кавалерии.

В 1815 году Мюрат был осужден на смерть и казнен в городе Пиццо, и его саблю похитил какой-то итальянский солдат, который продал драгоценную саблю вместе со мной римскому мяснику за бесценок. Мясник отдрал меня от эфеса и спрятал в железный ящик вместе со своими ценностями. А лезвие сабли использовал в своей лавке для разделывания туш.

Более ста лет провел я в своем новом обиталище. В конце концов один из наследников мясника, разорившийся винодел, уступил меня заезжему молодому миллионеру. Этот молодой красавец отвез меня своей жене, только что подарившей ему первенца, и бросил меня на ее подушку. Словно горящий уголек засверкал я в полузатемненной комнате.

Но и в этой семье я пробыл недолго. В одну роковую ночь, когда я — уже превращенный в драгоценную брошь, — висел у изголовья своей хозяйки, сквозь растворенное окно в комнату влезли двое мужчин в масках, закрывавших лица. С криком вскочила с постели моя перепуганная госпожа, схватила меня в руки. Грабитель подбежал к ней и попытался вырвать меня, но тщетно. И тогда молнией блеснуло узкое острие и вонзилось в грудь молодой женщине. Забилась и заплакала перепуганная двухлетняя девочка, но второй грабитель заставил умолкнуть и ее. В ту же ночь убийцы передали меня с рук в руки какому-то страшному, как гном, коротышке.

Не прошло и недели, как я снова оказался в Петербурге, на этот раз — у известного капиталиста Путилова. Этот богач поднес меня супруге русского императора — Александре Федоровне. И опять очутился я в царской сокровищнице. Третьего августа 1914 года императрица повелела вставить меня в середину большого золотого креста, который собственно-ручно преподнесла великому князю Николаю Николаевичу, только что назначенному главнокомандующим русскими войсками. Так и висел я на груди у него, пока не пришло время генералиссимусу спастись бегством из

революционной России. В Крыму отчаявшийся и потерявший надежду на спасение великий князь передал меня вместе с другими своими драгоценностями на сохранение молодому адъютанту, князю Николаю Кантакузени

зени». Услышав последнюю фразу, Пиртахия с сомнением повторил: «Кантакузени?...» Но я, не обращая на него внимания, продолжал чтение.

«По повелению своего командира и господина эту летопись «Королевы утренней зари» составил и записал верный слуга и денщик великого князя Николая Николаевича, художник Кузьма Иванович Сорокопин».

Все приведенные здесь сведения начисто переписаны мною с внутренних стенок старой, покареженной шкатулки, которые были исписаны в разное время многими почерками.

Шкатулка дубового дерева, которая хранила в себе драгоценный камень в течение трех столетий, ныне находится в семье моего отца, священника Ивана Феофановича Сорокопина, в поселке Биндеровке Киевской губернии».

Так заканчивалась история «Королевы утренней зари».

Сложив тетрадку, я спрятал ее в шкатулку. Поднял голову. Вокруг все стояли неподвижно, не произнося ни слова. Наконец Владимир улыбнулся с видом человека, который с трудом разобрался в запутанных обстоятельствах.

Для меня тоже было ясно, как много объясняется упоминанием в «летописи» фамилии Кантакузени. К своему удивлению, я обнаружил, что история этой драгоценности является своеобразным продолжением дела о похищении Сионской богородицы.

Причиной смерти молодой женщины, убитой на Военно-Грузинской дороге, была эта блестящая, переливающаяся штука, которая лежит в лакированной коробочке. Закрыв крышку, я снова завернул ее в бархат.

Бледная, перепуганная хозяйка прерывающимся голосом сказала:

— Поверьте мне... Клянусь вам этим ребенком, — она протянула руку в сторону медленно покачивающейся колыбели, — я в первый раз вижу этот бриллиант... — Она прикрыла глаза и, почувствовав, что не может сдержать слез, отвернулась.

...Мне не терпелось поскорее попасть в следственный отдел. Правду говоря, интерес к Борису Саидову и Сергею Стасю у меня значительно снизился. Я давно искал встречи с ними, изучил их характеры и души. А теперь предстояло подготовиться к разговору с новым противником — Игорем Тамановым. Припоминалось все, что я знал о нем. Характеристика Раисы: умный, бесстрашный, хладнокровный и безжалостный. Поединок с ним будет нелегким. Но мне доводилось встречаться и не с такими. Мой опыт, вся моя воля должны помочь в этом поединке.

— Скорее, — торопил я шофера.

Скоро мы выехали из Орджоникидзе. Впереди нашего «газика» ехал «кадиллак» с арестованными. Несмотря на заснеженный участок пути, ждавший нас на Крестовом перевале, к рассвету я надеялся успеть в Тбилиси.

* * *

Сколько я не убеждал Саидова и Стася, что нам известны все их дела, они упрямо отмалчивались.

— Чего же спрашиваете, коли и так знаете, — повторяли они в ответ на все вопросы.

Я даже упомянул между прочим, что Раиса у нас в руках, что она задержана в Харькове и сидит там в тюрьме и что с ее слов мы знаем все подробности похищения иконы Богородицы из Сионского храма. Но оба

дружка не сознавались в том, что знакомы с Раисой Миндиашвили и слышали когда-нибудь о грабеже в храме.

При допросах Стася мы спрашивали его только об обстоятельствах похищения иконы, словно бы не подозревая о других его преступлениях. Я пока что придерживал вопросы, связанные с убийством на Военно-Грузинской дороге: может быть, он решит сознаться в ограблении, чтобы отвести внимание следствия от «мокрого» дела, за которое пришлось бы отвечать более строго. Но все было напрасно: и Стась и Саидов держались на допросах совершенно невинными людьми.

Причины, побуждающие их так упорно молчать, были для меня понятны. От них ничего не удастся добиться, пока не заговорит их «дирижер» — Игорь Таманов. На вопрос о «Королеве зари» все отвечали примерно одинаково:

— Что вы нас спрашиваете? Мы ничего не знаем и не ведаем. У кого нашли, с того и ответ спрашивайте.

Я решил заняться прежде всего Тамановым. В случае чего, можно было устроить ему очную ставку с Раисой Миндиашвили. Но к этому средству нужно прибегнуть лишь в крайнем случае: следовало оберегать Раису от столь сильных переживаний.

...Я пришел на работу ранним вечером. В отделе из старших никого кроме меня не было. Позволив дежурному коменданту, я попросил привести Таманова.

Дверь моего кабинета открылась, и в сопровождении караульного вошел Игорь Таманов. Я рассматривал его с повышенным интересом. Раиса Миндиашвили немало рассказывала мне о его горячности и смелости, сообразительности и осторожности. Но я следователь и не могу полагаться на чужие характеристики. Тем более, что увидев его в Орджоникидзе, на квартире Зубиной, я сразу же стал отмечать для себя кое-какие неточности в рассказе Раисы. Правда, он был высок и строен, но не так смугл лицом, как она говорила.

Сейчас, в спокойной обстановке, я внимательно разглядывал его. Черные сверкающие глаза, казалось, и впрямь способны проникать до самой глубины души. Их взгляд свидетельствовал о незаурядном уме и силе характера. Цвет лица его нельзя было назвать темным или смуглым. На щеках не было румянца, но прозрачная бледность кожи вовсе не указывала на слабость или болезненность. Черные усы и черные вьющиеся волосы. Плечи широкие, развернутые. Даже пиджак не мог скрыть силы и мускулистости его груди. Такому молодцу пойти по доброй дороге — цены ему не было бы!

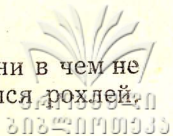
Я указал Игорю на кресло. С достоинством кивнув мне головой, он сел. Попросил разрешения закурить. Голос у него был приятный, запоминающийся.

Арестованный сидел ко мне боком, повернувшись профилем, и спокойно курил, не обращая внимания на мое упорное внимание.

Я довольно долго не начинал разговора. Тишина нарушалась лишь равномерным тиканьем настенных часов. Мне хотелось прощупать выдержку человека, с которым придется иметь дело. Воспринял ли он свой арест как катастрофу, как крушение дела всей жизни, или же собирается вступить в затяжной спор с правосудием?

— Вы Игорь Таманов, дядя Петра Таманова, не так ли? — я упомянул имя его жертвы, чтобы сразу же задеть его нервы и дать понять, что мне известны прежние его преступления. Но Игорь даже бровью не повел. Повернувшись ко мне, он улыбнулся и сказал:

— Петро? Дядя! Кто вам сказал? Однажды встретились в ресторане и он сказал, что он тоже Таманов. Я и поверил ему. — Игорь поглядывал на меня, словно говоря: «Ну, что еще вам угодно спросить?»



— Вы поверили ему... А дальше?

— А дальше я, как родственник, помогал ему, чтобы он ни в чем не нуждался. Думал, Петро станет моим помощником, а он оказался рохлей бабой...

— Что же вы с ним сделали?

— Я помог ему распрощаться с этим миром... Не то все они сели бы мне на голову. Если бы я успел и Саидова со Стасем... Тогда вам не пришлось бы беседовать со мной здесь, — он улыбнулся и снова задымил папирсой: — С чего вы вдруг вспомнили Петра? Удивляюсь...

— Просто так, к слову пришлось. Впрочем, у нас еще много тем для разговора, пожалуй, более серьезных, — спокойно объяснил я, хотя, должен признаться, меня поразило, с какой бесцеремонностью сказал он об убийстве Петра.

Игорь ничего не ответил. Собрав на переносице брови, он внимательно следил за дымом папирсоки.

— Мне поручено вести следствие по вашему делу и поэтому...

Но он не дал мне договорить:

— Все это меня совершенно не интересует, — сказал он чуточку повышенным голосом, но тут же прикусил губу. — Будете это вы или кто-нибудь другой — безразлично. Только я не расположен говорить сегодня вечером...

— Ого!

— Прошу вас, прикажите отвести меня обратно. Когда мне захочется повидаться с вами, я дам знать, — проговорил он подчеркнуто вежливо и встал.

Я не пошевелился, оглядел его с ног до головы и засмеялся.

— Уж не хотите ли вы поменяться ролями?

— Что вы, я не пошел бы на это даже ради спасения жизни.

— Понятно. Мне ясно, что у вас свои планы, свои интересы. Но не можем же мы вести допросы тогда, когда заблагорассудится арестованным. К тому же, у меня не только одно ваше дело. Садитесь...

— В настоящее время у меня только мое дело. Да и по закону я могу не отвечать на вопросы, если не желаю. — Он вдавил в пепельницу окурок и потер руки, чтобы согреться. Потом поглядел на меня: — Ну что, закончим? Могу я идти? — Он сделал два шага по направлению к двери.

Я не мог понять, для чего ему так необходима была отсрочка. В камере он был надежно изолирован, наладить связь с соучастниками или с друзьями на свободе он не мог.

Может быть, ему нужно время, чтобы обдумать, что и как говорить?

Может, он устал и хочет отдохнуть перед тяжелым и изнурительным единоборством со мной?

Может, просто упрямится, проявляет характер?

Или хочет сразу же показать, что я имею дело не с обычным арестованным и мне придется считаться со всеми его капризами?

— Вы увидите, когда я вам разрешу.

— Мне обязательно надо идти, — совершенно спокойно, даже дружелюбно сказал он и, улыбаясь, провел пальцами по усам.

«Недобрая улыбка», — подумалось мне.

— Куда? — поинтересовался я так же спокойно.

— В камеру, — ответил он еле слышно и отвел взгляд.

Неужели он так самоуверен, что надеется подчинить меня своей воле? Мною овладело какое-то необычное чувство. Страх? Нет, это не страх. Я у себя в кабинете, в знакомой до мелочей обстановке, да к тому же — он арестованный, а я — следователь. Смущение? Нет, конечно. С чего мне было смущаться перед человеком, который не стеснялся ничего на свете.

который нес на своих плечах тяжесть многочисленных грехов и преступлений.

«Так в чем же дело?» — пытался понять я. Со всей возможной строгостью еще раз приказал я Игорю сесть. Он не пошевелился, закрыл глаза и после недолгого раздумья вздохнул.

— Знаете что? — сказал он с убеждающим спокойствием. — И мне, и вам ясно, что я виновен перед законом. Надо быть совершенным идиотом, чтобы в моем положении начать оправдываться, рассказывать сказки, изворачиваться. — На мгновение умолкнув, он гордым движением поднял голову и продолжал: — Я только хочу, чтобы вы разрешили мне самому написать о своей вине. Это будет не просто признание преступника, которое остается только подшить в дело. Нет, это будет маленькая, совсем маленькая история моей жизни. А жизнь у меня интересная...

Я посмотрел на Игоря.

— Я опишу все, все... что не уместится в протокол допроса, как не может уместиться в Тибре Монблан...

Тибр, Монблан, Италия... Откуда все это у человека, который, по моему предположению, родился и рос здесь, у нас?

— История моей жизни несомненно представит интерес, — продолжал Таманов убеждать меня. — Порою, когда я как бы со стороны припоминаю все, кажется, словно читаю захватывающий роман. Разрешите мне описать все это... У меня должно получиться, я пробовал — и получалось неплохо.

— Пожалуй, я предоставлю вам эту возможность, — согласился я.

Подняв голову, он посмотрел на меня, довольный, как ребенок. Потом смущенно отвел взгляд, уставившись в угол, где стоял маленький столик для графина с водой и, словно бы про себя, закончил: — Вот за этим столиком пристроюсь и буду писать, писать...

— Вам, наверно, понадобится немало времени?

— Дня два, три, может даже больше.

— Тогда я вам найду другое место, где вам никто не будет мешать. — Подняв телефонную трубку, я попросил Пиртахия зайти в мой кабинет.

Я был уверен, что если это не лицемерие и хитрость, а подлинное движение души, Игорь подробно и откровенно напишет обо всем. Мне же очевидно оставалось ждать, так как допрашивать Саидова и Стася я пока считал бессмысленным.

Сейчас меня беспокоила Раиса Миндиашвили. Я знал, что она с нетерпением ждет моего возвращения. Разумеется, теперь я уже могу встретиться с ней, сказать, что те, кого она опасалась, находятся уже в руках правосудия. Весть об аресте Игоря Таманова обрадует ее и успокоит. Пожалуй, можно было бы сейчас даже рассказать правду о себе и Пиртахия.

Кто знает, не лучше ли было мне совсем не встречаться с этой женщиной, пройти стороной, как проходишь мимо случайных знакомых и простых встречных?..

Но нет. Раиса нуждалась в поддержке, у нее в целом свете нет никого, кто бы помог ей. И она могла пойти по той же дорожке, что и Таманов, Стась, Саидов. Мой долг спасти ее, помочь в жизни. Но смогу ли я исполнить его, если не расскажу обо всем откровенно, если буду продолжать скрываться и обманывать?

Начальник отдела убеждал меня пойти к Раисе и рассказать обо всем. Я знал, что он прав, понимал это разумом. И наконец решился. Надо было только назначить день, когда я встречу с Раисой и откровенно расскажу обо всем.

Начальник и в этом пришел мне на помощь.

...По безоблачному мартовскому небу катилось солнце. Резкий ветер носился по улицам. Плехановский проспект был полон. Я подошел к подъезду дома номер сто четырнадцать, когда часы пробили десять.

Раиса Миндиашвили еще не выходила из дому. Я решил подождать ее на улице.

Скоро она показалась на ступеньке подъезда и остановилась, словно решая, в какую сторону пойти. Потом направилась к трамвайной остановке. Я пошел за ней. Обогнав, сошел на мостовую и повернул ей навстречу. Только поравнявшись, Раиса увидела меня. Бледная, с покрасневшими глазами, она имела вид человека, который смирился с неотвратимым горем. Несмотря на теплую погоду, Раиса зябко поеживалась в своем зимнем пальто.

Заметив меня, она, не отдавая себе отчета, с надеждой направилась в мою сторону, но остановилась и безнадежно вздохнула.

— Уж не заболела ли ты? — крикнул я издали.

Безмолвно протянув мне повестку с вызовом в угрозыск, она отошла шага на два и остановилась. Прочитав повестку, я посмотрел на часы. Было половина одиннадцатого. В вызове велено было явиться к начальнику отдела в одиннадцать.

Вздохнув, я проговорил словно бы про себя:

— Видно, те герои во всем признались!

— Как! Их поймали?! — воскликнула Раиса.

— Да, задержали всех, даже их главаря — Игоря Таманова. Я шел к тебе, чтобы сообщить эту новость. — Наклонив голову, я пытался нащупать в кармане пачку папирос. — Не думал, что эти молодцы впускают женщину в свое дело, — с сожалением проговорил я и посмотрел на Раису.

Она вздохнула, сжала губы и провела рукой по лбу:

— И Игорь?! — в глазах у нее мелькнула искорка несмелой надежды. — Боже мой, неужели?.. Впрочем, мне это уже не поможет. — Снова затуманились глаза Раисы. — Мне жалко маму, а не себя... Что ж, подделом мне.

Я сделал вид, что, отдавшись своим мыслям, не слышал ее последних слов. Обернувшись к своей взволнованной собеседнице, я взял ее за руку и сказал:

— Не бойся, все будет хорошо. Я с тобой...

Раиса перевела дух и еле слышно спросила:

— Чем ты можешь помочь мне, Сандро?

— Я обязательно помогу тебе. Ты ведь знаешь, что это дело у моего друга. Начальник отдела, к которому ты вызвана, тоже мой добрый приятель. Не бойся, мы не дадим тебя в обиду. — Смело взяв ее под руку, я сделал несколько шагов, но потом остановился, точно должен был сейчас же, не сходя с места, решить какую-то важную задачу. Раиса замерла.

Спрятав повестку в карман, я решительно сказал:

— Иди домой и жди меня. Ни о чем не думай, я скоро вернусь.

— Ты... А что будет... Если за мной придут... — Женщина совершенно растерялась, хотя было видно, что она с готовностью и верой вручает мне свою судьбу. — Нет, лучше я пойду к Марте Петровне и там подожду тебя.

— Что за Марта Петровна? — удивился я, услышав незнакомое имя.

— Марта давняя знакомая Игоря. Еще лет десять назад он с каким-то своим приятелем жил у нее на квартире. И с тех пор почему-то считает себя ее должником, даже присылал деньги. Приезжая в Тбилиси, он обязательно навещал ее.

— Интересно, — прервал я и после недолгого молчания добавил: — А она недалеко живет? Стоит ли тебе сейчас идти к ней? — Я

пытался как-то незаметно выведать адрес Марты Петровны. Раиса сама пришла мне на помощь:

— Нет, она тут же, вон в том доме, — она указала на голубой двухэтажный дом напротив.

— Интересно, чем заслужила эта женщина такую честь? — пробормотал я.

— Не знаю, она никогда не говорила об этом.

— Ну, их отношения нас совсем не интересуют. Теперь главное — твое дело, — ответил я и, придерживая Раису под руку, повел ее к дому.

— Пожалуй, тебе лучше остаться у себя. Кроме меня, никто к тебе не придет. К Марте Петровне не ходи — может, Игорь назвал и ее адрес, и туда наведаются из угрозыска.

Раиса побледнела, потом с испугом посмотрела на меня.

— Ты прав, я подожду тебя дома, — и скрылась во дворе.

Профессиональное любопытство не давало мне покоя. Визит к Марте Петровне и разговор с ней принесут несомненную пользу для следствия, — убеждал я себя.

Что могло связывать Игоря с этой женщиной? Почему он посылал ей деньги? Не из простого человеколюбия, конечно!

В чем же дело?

Может быть, Игорь был пленен внешностью Марты?

Сотни подобных «может быть» и «почему» сверлили мой мозг. Но ответ можно будет дать лишь поведав саму Марту Петровну. Я решительно направился к двухэтажному дому, на который указала мне Раиса.

Взяв у дворника домовую книгу, я стал разыскивать в ней женщину по имени Марта Петровна. Словоохотливый дворник рассказывал мне:

— Марте Петровне Соколовой шестьдесят восемь лет. Два года назад она овдовела. Одинокая женщина занимает две комнаты, одну из них сдает иногда артистам цирка и филармонии. Она и две ее кошки живут на небольшую вдовью пенсию и плату, получаемую с квартирантов...

Через час после того, как я вернулся в свой отдел, в мой кабинет ввели Марту Петровну.

Я встретил Соколову так, как будто мне все о ней было известно в подробностях, и ее показания представляли собой пустую формальность, маловажную для следствия.

Марта Петровна оставляла впечатление женщины спокойной и рассудительной. Несмотря на возраст, держалась она прямо и выглядела довольно бодро.

В ответ на мой вопрос, она подтвердила, что знает Игоря Таманова с 1926 года, когда он прожил у нее три дня. Потом она умолкла, ожидая новых расспросов.

— Мне хочется знать, почему Таманов решил довериться вам? — спросил я как бы между делом и, глядя ей прямо в глаза, стал ждать ответа.

Женщина вдруг заволновалась, осенила себя крестом:

— Клянусь богом, я и по сей день не знаю, чья это была девочка. Я готова рассказать вам все, что мне известно, но чего не знаю — того не знаю.

— Хорошо, я вас слушаю, — ответил я, приготовившись записывать.

— В тот день Игорь и его дружок — если не запамятовала, его называли Стась, — прибежали как угорелые. Стась держал на руках спящую девочку, лет трех-четырёх...

«Прибежали как угорелые», «Девочка трех-четырёх лет»... Все это было ново и неожиданно. Неужели они вдобавок ко всему еще похитили ребенка?!

— Вы не знаете, кто была эта девочка?

— Нет, я боялась спрашивать. Впрочем, догадываюсь, что они ее похитили.

— Почему вы тогда же не заявили об этом?

— На старости лет мне, верующей женщине, не к лицу заниматься доносами, — обиделась Соколова.

— Верующая, — не смог я сдержаться. — Не думаю, чтобы бог занимался покровительством преступникам. — Взглянув на покрасневшую женщину, я спросил:

— Почему вы предположили, что ребенок похищен?

— Три дня прожили они у меня на квартире и ни разу даже не заикнулись о ребенке. А в то утро Игорь рано вышел из дому и вдруг прибежал обратно, взволнованный, возбужденный. Разбудил Стася, вытащил его из постели. «Нашел, — говорит, — ты должен помочь мне, скорей...» И убежали...

«Нашел, ты должен помочь мне», — отметил я про себя. Что бы все это могло значить? Какого ребенка искал Игорь? Своего?.. Но тогда от кого же он прятался, скрывался, почему делал из этого тайну? Нет, тут дело сложнее и запутаннее...

— Продолжайте, — попросил я, кончив записывать, и посмотрел на Марту Петровну. Она вынула из сумочки коробку нюхательного табака и поднесла к носу.

— Потом... — Она чихнула, высморкалась в большой шелковый платок, отерла им слезы. — Вернувшись, они просидели дома до темноты. Ребенок только раз проснулся, но сразу же снова заснул.

— Сколько времени оставались они у вас после этого?

— В ту же ночь уехали. Прощаясь, Игорь протянул мне пачку пятидесятирублевек — там было двадцать штук, я потом сосчитала, — предупредил: ни слова об этом, не то... — Женщина печально вздохнула и закончила: — Вот и все. С тех пор я не видела Игоря.

— Ни Стася?

— Нет.

— Но ведь они не забывали вас?

— Вы правы. Я потом не раз получала от Игоря деньги, но он не говорил, за что и для чего.

— А вы сами как думаете?

— Должно быть, чтобы я продолжала хранить молчание о той девочке.

Мне казалось, что предположение Марты Петровны соответствовало истине. Но кто та девочка? Для чего понадобилась преступникам лишняя обуза? Может — месть? Или попытка получить с родителей выкуп за ребенка?..

Я решил разыскать в архиве следы этого дела.

* * *

Часам к девяти вечера я проводил Раису Миндиашвили до угла улицы Церетели и площади Свободы. Она шла рядом со мной спокойная, беззаботная. Раиса верила мне, как брату, как испытанному в горе и радости другу. Она была убеждена, что в угрозыске и следователь, и начальник встретят ее по-дружески.

По пути Раиса внимательно слушала то, что я говорил: о бандитах, которые обвиняют ее в своем провале и собираются отомстить; о том, что в угрозыске я заверил всех в ее невиновности... Раиса, судя по всему, готова была помочь следствию. Спокойная, честная жизнь без опасений и подозрений стала ее мечтой, ее целью.

Она и раньше с готовностью сообщала мне все, что знала, но все же боялась мести тех, кто лишил жизни ее мужа. А теперь, когда преступники были выявлены и арестованы, Раиса Миндиашвили твердо решила честно-сердечно рассказать в угрозыске обо всем, облегчить свою душу откровенным признанием.

Я оставил Раису у входа в здание Тблсовета и пообещал подождать ее здесь. Она свернула за угол и вошла в помещение следственного отдела с улицы Церетели. Я же, обойдя дом с Вельяминовской улицы, прошел в отдел со служебного входа.

...Было уже за полночь. В моем кабинете зазвонил телефон. Подняв трубку, я услышал голос начальника. «Можете идти отдыхать», — сказал он и, не дожидаясь ответа, дал отбой. Я понял, что он закончил разговор с Раисой Миндиашвили и собирался отпустить ее домой. Схватив с вешалки пальто и кепку, я побежал к месту встречи.

Только я остановился под часами и собирался закурить папиросу, из-за угла улицы Церетели показалась Раиса. Я заспешил к ней навстречу. Увидев меня, она радостно улыбнулась, гордо подняла голову и, продев руку мне под локоть, почти прижавшись головой к моему плечу, направилась к площади.

— Ну как, все в порядке? — взволнованно спросил я.

— Все, все прекрасно! — Она заглянула мне в глаза и потом вдруг зажмурилась, словно припомнив детскую игру в жмурки. — Сандро, ты не поверишь, мне кажется, что сегодня я вторично родилась на свет. Так мне хорошо, покойно на душе... — Смахнув пальцем слезинку в уголке глаза, она еще крепче прижалась ко мне и прибавила шаг. — До нынешней встречи они все казались мне бездушными сухарями, я боялась их, как огня, дрожала при их упоминании... А они... Они такие добрые, внимательные. И все понимают!

— Что тебе сказали? — прервал я ее.

— Я рассказала им все, откровенно и чистосердечно, как ты мне говорил. Они записали все слово в слово и дали мне подписать. А потом... Пообещали помочь, и на работу, говорят, поможем устроиться. Сандро, дорогой, наконец-то мы с мамой можем спать спокойно.

Она шагала легко, стремительно, словно летела над землей. В конце Дворцовой улицы показался извозчик. Я окликнул его. Всю дорогу Раиса не умолкала ни на минуту. Она пересказывала во всех подробностях свои впечатления от разговора с начальником отдела, описывала мне — мне, который видит его почти каждый день в течение десятков лет! — его внешность, голос, повадки...

У ворот ее дома я начал было прощаться. Но Раиса не хотела отпускать меня. Ей казалось, что именно сегодня, в этот знаменательный день я должен познакомиться с ее мамой.

— Она так обрадуется! — убеждала Раиса.

Я отговаривался тем, что уже поздно для визитов. Раиса не выдержала и спросила, почему я ничего не спрашиваю о том, какие показания дала она на допросе.

— Может быть, это тайна? — сказал я.

— Я ничего не скрывала от них. Рассказала о жизни своей, начиная с несчастного Петра Таманова, рассказала обо всем, что видела и слышала. Не скрыла и харьковскую историю с директором ювелирного магазина, которого выманила из театра. В общем, всю накипь, что скопилась у меня на душе, рассказала я там.

Ночной ветер привольно разгуливал по опустевшим полуночным улицам. Но Раиса даже не вспоминала о том, что надо застегнуть пальто. Грудь ее дышала успокоенно и ровно. Снова получив отказ на приглашение зайти к ним, она на прощание бросилась ко мне на шею и радостно, с

детской непосредственной благодарностью поцеловала. Вбежав во двор, Раиса еще раз оглянулась и крикнула:

— Не забудь, завтра вечером мы ждем тебя!

...Прошло три дня, но Игорь Таманов все еще не кончил записывать свои показания. Он сидел в маленькой комнатке комендатуры и, не подымая головы, писал, писал, писал. Нетерпение подстегивало меня, но я не мешал ему. По несколько раз в день вызывал я к себе коменданта и расспрашивал:

— Ну как он? В каком настроении? С охотой ли пишет?

Больше мне ничего не оставалось желать, и я терпеливо дожидался, пока арестованный закончит свою исповедь.

Тем временем я еще раз повидал Раису. К счастью, матери ее снова не оказалось дома. Несмотря на настоятельные советы начальника — решайся, наконец, скажи, мол, всю правду, — я опять молчал, словно набрав в рот воды.

На работу я вернулся с небольшим опозданием. Не успел я зажечь в кабинете свет, вошел оперуполномоченный и положил на стол дело о похищении ребенка, которым я интересовался. «Об исчезновении Ии Теймуразовны Курхули», — прочитал я на папке. Но мне не удалось начать чтение — зазвонил телефон. Комендант докладывал, что Игорь Таманов хочет повидаться со мной. Отложив папку, я стал дожидаться арестованного.

Игорь вошел, улыбаясь, словно после давней разлуки повстречал, наконец, старого друга. В руках он держал стопку исписанной бумаги. За эти три-четыре дня он осунулся, побледнел, но вид у него был далеко не грустный.

— Я задержался, но думаю, что человеку в моем положении это прощительно, — проговорил он, по-домашнему устраниваясь в кресле и кладя свои записи на стол. — Думаю, теперь все в порядке. Кажется, мне удалось все вспомнить. — Он наморщил лоб, поглядел задумчиво на чернильницу и, помолчав, продолжал. — Здесь, — он кивнул на стопку бумаги, — я считал излишним давать подробный список всех совершенных мною преступлений. Это мы предоставим Саидову и Стасю...

Услышав фамилии двух друзей, я невольно нахмурился — мне все не улыбалась перспектива вести с ними долгие и малопродуктивные разговоры. Игорь, догадавшись о причине моего недовольства, спокойно заверил:

— Не беспокойтесь, я велю им рассказать все. Мое слово для них закон.

— Хорошо, если так, — согласился я, успокаиваясь. — Но о чем же вы тогда здесь столько написали?

— Я попытался изложить историю своей жизни и кое-какие достопримечательные обстоятельства. Прочитайте, если понадобится что-нибудь добавить, найти вам меня будет нетрудно. Я здесь же, на первом этаже, и пока что не думаю переезжать куда бы то ни было, — он засмеялся своей шутке и потянулся без приглашения за моим портсигаром. — Пока что... А потом — посмотрим. Может быть, лучше будет перебраться отсюда куда-нибудь в иное место? — Я тоже улыбнулся, но не потому, что находил действительно смешным остроумие Таманова. Просто я хотел поддержать его настроение, убедить его, что ценю простое и неофициальное отношение к себе.

— Что ж, погляжу, — шутливо кивнул я, — может быть, ваше творение так хорошо, что его стоит прямо передать в издательство.

— Ради бога, не делайте этого без меня, — в тон нашему разговору отвечал Игорь. — Моя книга выйдет в свет под псевдонимом, а вы его пока что не знаете... — Он засмеялся. Я тоже. Потом я сказал:

— Напрасно вы так уверены — мне давно известен ваш псевдоним.

— Не думаю.

— Поверьте мне, дорогой Барон. — Теперь я засмеялся первым. Но напрасно я ждал, что Игорь поддержит меня. Он вздрогнул, словно его внезапно облили холодной водой. Скулы его напряглись. Он стал растирать папиросу пальцами с такой силой, что весь табак просыпался, и у него в руках осталась одна бумажка.

— Да, Барон, — проговорил он сквозь зубы и поднялся.

— Куда вы? — Я глянул на него снизу вверх, нахмурившись, чтобы выдержать его пронзительный взгляд. — Я предупреждал, что нам все известно, и вам придется с этим примириться.

— Меня это вовсе не волнует. — Игорь ладонью изо всех сил тер лицо, словно желая страхнуть с себя страшный сон.

— Так в чем же дело?

— В том, что меня продал кто-то из своих, близких. Неужели вы могли заплатить больше, чем я? — Он помолчал. — Да, только близкий человек может знать, какой крест ты носишь на груди — православный или католический.

Я снова отметил про себя необычность, проскальзывающую порой в его речи.

— Вот что волнует меня, — повторил он, беря себя в руки и загоняя злость куда-то вглубь. — Здесь, в моей исповеди, да и в показаниях Стаса и Саидова достаточно материала для того, чтобы получить даже высочайшее согласие святого отца на мое повешение.

Резко повернувшись, он, не оборачиваясь, вышел из кабинета. Я молча проводил его до комендатуры.

«Я родился в 1887 году в городе Херсоне, — так начинались записи Игоря Таманова. — Мой отец, Данила Таманов, провел в этом маленьком украинском городке всего четыре или пять месяцев, но успел за это короткое время покорить сердце дочери богатого торговца шерстью Кузьмы Тарасенко — девятнадцатилетней Матрены.

Когда эта простодушная девушка уже не могла скрывать уличающих обстоятельств, порожденных слишком близким знакомством с Данилой, он внезапно исчез, словно камешек, унесенный морским прибоем, как говаривала моя покойная бабушка. Отец моей матери Кузьма справедливо считался человеком горячим и вспыльчивым, однако, ко всеобщему удивлению, он не стал наказывать единственную дочь за недостойное поведение. Он разыскал Матрену, скрывшуюся в Джанкое от позора, и самолично вернул в семью.

«Красив был, проклятый, так красив, что сама богоматерь не удержалась бы от греха», — сказал Кузьма о моем отце и обещал дочери прежнюю родительскую любовь.

Дед мой полюбил новорожденного младенца. Но как только я немного подрос и начал ходить, душа его отвернулась от меня. Когда мне исполнилось семь лет, Кузьма уже вообще не хотел меня видеть.

— Почему? — спрашиваю я себя.

Потому что подростки, я стал походить на своего отца, как две половинки разрезанного надвое яблока. Редко-редко заговаривал со мной этот крепкий, коренастый и жилистый, как дубовый кряж, старик. Не щадя моего детского воображения, прямо в глаза говорил он мне, что я отродье нечистого, что в душе моей поселился дьявол, а из глаз выглядывает сатана. «Ты не рожден для добрых дел», — покрикивал на меня дед, который никак не мог примириться, что у его дочери появился такой чертенок, как я.

«Твой отец — жулик и проходимец, — говорил он, — который может только мучить и калечить людей».

Так проходил месяц за месяцем, год за годом.

Порой, подбежав к зеркалу, я внимательно разглядывал себя. И видел, что взгляд у меня действительно не такой, как у всех. Так постепенно я убеждался в своей необычности.

Бабушка моя безропотно слушалась во всем своего мужа. Правда, она не мучила меня, а просто сторонилась, словно прокаженного.

В детстве я видел хорошее только от матери, но и она помнится мне смутно, как дневной сон. Дед скоро выдал ее замуж за воронежского купца. Не могу забыть, как прижимала она меня к груди на прощание, как целовала и шептала на ухо: «Потерпи, миленький, совсем немного — и я возьму тебя к себе, мы снова будем вместе, всегда, всегда...»

Я остался один, без родительской любви и тепла, под одной крышей с ненавидевшими меня людьми. Каким я мог вырасти в таких условиях? Мог ли я полюбить людей, верить им?

В доме моего деда жила его сестра — шестидесятилетняя старая дева, хромая, со свороченной набор челюстью. Обделенная судьбой женщина ненавидела весь мир. Только меня она почему-то приблизила к себе, приголубила. Сначала мне казалось, что она просто жалеет меня, но скоро догадался: старая карга видела во мне родственную душу, человека, преисполненного злостью ко всему вокруг, так же как и она. И мы все время проводили вместе, не расставались ни днем, ни ночью.

Я отвечал ненавистью на ненависть. Каждый вечер перед сном мы вместе с моей покровительницей возносили к небу молитвы о ниспослании болезней и гибели на тех, кто отталкивал меня от себя.

Так я и рос. Будущее мое было безрадостно, безнадежно. С трудом добравшись до пятого класса, я махнул рукой на учение. Меня выгнали из школы, но дома никто не заинтересовался этим. В один прекрасный день дед, хмурый и сердитый, вызвал меня и приказал: «Будешь пасти скот. Не дашь телятам вовремя поесть — сам ни куска хлеба не получишь».

Пастушество оказалось вовсе не легким делом. Надо было таскать траву, сено, зерно. Беспокойные телята разбегались во все стороны.

С утра до вечера работал я не разгибая спины, но все же не успевал справиться со всеми делами. И нередко ложился спать голодным, не получив от деда даже корочки хлеба.

Моя старая наставница с восторгом рассказывала о кочевой жизни таких людей, как мой отец: они свободны и независимы, не то что мы. «Будь моя воля, я бы ни минуты не оставалась в этом волчьем логове», — повторяла она. Мне в душу запала эта мечта о привольной жизни. И в шестнадцать лет, не выдержав злых насмешек и непосильного труда, я ушел из дому.

Я отправился в Воронеж, хотел разыскать мать. «Пусть бы хоть издали посмотреть на нее, — думал я, — и можно идти дальше, искать свою судьбу».

Сейчас я понимаю, что у меня в душе не было тогда любви к этой женщине. Почему она не взяла меня с собой, почему оставила во власти страшного человека? — думал я.

Недобрые вести встретили меня в Воронеже. Мать моя умерла, и в доме отчима хозяйничала новая жена. Я пошел на могилу матери. На невысокий холмик, огороженный белой галькой, сыпался тополиный пух. Где-то в глубине моей души залег тяжелый туман. Но прошло время, повеяло ветерком, и туман рассеялся.

Прямо к кладбищу я отправился на железнодорожную станцию — решил окунуться в жизнь большого города. «Воробью нетрудно будет пропитаться на большом пастбище», — думал я.

Поезд увез меня к Киеву. С утра до вечера бродил я по улицам и площадям, очарованный величественной красотой города. Червонец, вытасченный мною из дедовской кубышки перед побегом, подходил к концу. Уста-

ль и сонный притащился я глубокой ночью обратно на вокзал — единственное знакомое мне место во всем городе. Умерив голод двумя пирожками, я пробрался в зал ожидания и прикорнул в уголке. Сон сразу сморил меня.

Разбудил меня увесистый тумак. Протерев глаза, я увидел перед собой усаха с погонами на плечах. Я вышел на привокзальную площадь.

Уже начало светать. И снова отправился я в свой бесконечный путь по огромному незнакомому городу.

Возле дверей какого-то трактирчика стояло много фаэтонов и колясок. Заглянув в дверь трактира, я увидел, что он набит извозчиками.

Мне захотелось горячего чаю. Я пробрался внутрь, робко присел к одному столику. Половой, ничего не спрашивая, поставил передо мной тарелку с хлебом и колбасой. Съев все, довольный и сытый, сунул я руку в карман. Но тщетно искал я там чего-нибудь. Ночью вокзальные обитатели обокрали меня.

«Корми вас, бродяг и дармоедов!» — грозно воскликнул хозяин трактира и схватился за огромную палку. Испуганный, стоял я в углу, не двигаясь, не пытаясь удрать. Что было делать мне в этом чужом негостеприимном городе — желторотому и наивному мальчику, без копейки в кармане, без всяких надежд на завтрашний день?

Извозчики зашумели, повскакали со своих мест, удержали трактирщика, сунули ему деньги. Я выскочил на улицу и побежал, не сознавая, куда и зачем бегу. Мне все чудилось, что за мной гонится хромая старушка и злорадно кричит вслед: «Погоди, еще не то будет! Но ты не сдавайся, побарахтайся, побарахтайся, чтоб не утонуть».

Я замедлил шаг, отдышался, огляделся вокруг».

...Тамановская повесть о жизни увлекла меня. Правда, я пока не мог решить, пишет ли он всю правду или, может, приукрашивает свое прошлое, чтобы смилостивить правосудие. С этих страниц мне открывалась история сложной и запутанной судьбы, изложенная увлекательно и впечатляюще.

Записки Игоря по форме совсем не напоминали показания преступника, хотя они и были изложены на обычных листах для протоколов допроса. Давая ему эти листки, я имел тайную мысль: может быть, эта стопка бумаги сыграет свою роль на суде, как своего рода смягчающее обстоятельство. Если этот человек действительно является продуктом уродливых, темных сил, детищем проклятого старого времени, то его скорее можно считать жертвой, ставшим преступником по воле обстоятельств. Может быть, думал я, эта исповедь Игоря станет со временем интересным и поучительным для молодого поколения документом.

И я продолжил чтение:

«По многолюдным улицам я ходил как по пустыне, одинокий, никому не нужный. Лучше умереть, чем вернуться к деду, — думал я. — Но что делать здесь, в этом огромном городе?»

Крещатик — главная улица Киева — загорелся огнями. «Стучи каблуками взад-вперед, пока не испустишь дух с голоду», — насмешливо прошептал мне в самое ухо какой-то голос. Я вздрогнул, словно очнувшись от сна. Остановился на каком-то углу. И снова услышал таинственный голос: «Внешность у тебя привлекательная, по виду и одежде никто не признает в тебе бродягу, не станет опасаться. Так тебе ли, шестнадцатилетнему здоровому парню, трусливо и беспомощно оглядываться по сторонам? Трус не найдет своей судьбы».

Я свернул в темные улицы и долгое время бродил по ним, как кошка, подкрадывающаяся к воробью. Народу здесь было меньше. Я не смог подыскать здесь жертвы для себя. И снова отчаяние подступило к горлу.

Опять залитый огнями Крещатик.

Возле светящейся витрины кафе я остановился отдохнуть. На мосто-

вой стояла коляска, запряженная холеными белыми конями. Седобородый кучер дремал на облучке. Я подумал, что он чем-то напоминает моего деда, и вздрогнул.

«Тебе нравится моя карета? — услышал я звонкий женский голос. И обернулся. Молодая, богато наряженная женщина, которую держал под руку пузатый старичок, смотрела на меня, пряча улыбку в глазах. Мне показалось, что она хотела сказать: «Откуда ты здесь? Сколько времени искала я тебя, но не могла найти!..»

Я не отвел от нее взгляда и неожиданно для себя улыбнулся, словно старой знакомой.

«У тебя здесь свидание, мальчик?» — снова услышал я звонкий голос. «Свидание?.. Сейчас мне не до того...» — Я удивленно пожал плечами. Я чувствовал, что чудесная теплота глаз и ребяческий лепет этой волшебницы зажгли румянец на моих щеках. Я готов был тут же рассказать ей все, что лежало у меня на сердце, но прикусил язык: не хватало расчувствоваться перед первой же встречной!

«Видать, ты не здешний, мальчик?»

«Вы не ошиблись», — ответил я.

«У тебя есть кто-нибудь в Киеве?»

«Никого».

Глаза ее удивленно расширились. Тоном, не терпящим возражений, она приказала:

«Подымайся на козлы. Обо всем поговорим дома. — И вспомнив о присутствии пузатого старичка, повернулась к нему: — Не правда ли, Николай Петрович, гораздо лучше закончить этот разговор дома? Страшно интересно — такой молодой, и ни души знакомой в Киеве. Не правда ли?» — повторила она улыбувшись.

«Интересно, очень интересно, Варвара Давыдовна, — покорно согласился старичок и взглядом показал мне на карету.

Ни минуты не колеблясь, я вскочил на козлы и уселся рядом с громадным кучером, который откинулся назад, натягивая вожжи.

Кони понеслись по пустынным улицам.

— Ты откуда? — спросил белобородый неожиданно тихим голосом. Я смотрел в сторону, словно не расслышав его слов в топоте копыт. Что я мог ответить, когда у меня не было ни родных, ни близких.

Куда я еду сейчас? К кому? — спрашивал я себя. Но я не боялся. Да и чего мне было бояться, что я терял? Молодая женщина с первого взгляда показалась мне доброй и привлекательной. Ее спутник обращался с ней, как с важной госпожой, хоть по виду она и была старше меня всего года на три-четыре. Видно, дочь знатных родителей... Впрочем, кто бы она ни была, мне-то что?!

— Откуда ты? — так же тихо и не поворачивая головы повторил кучер.

— Полтавский, — ответил я и снова отвернулся.

— Полтава, Полтава, — почти пропел кучер и стал перебирать вожжами.

Скакуны тряхнули гривами, искры посыпались из-под копыт.

Карета остановилась у ограды перед двухэтажным домом.

За массивной железной оградой виднелся чудесный сад. Когда при-вратник распахнул настежь ворота и коляска въехала в сад, я услышал густой запах роз.

«Во что бы то ни стало, но я должен остаться в этом чудесном доме, у этой прекрасной госпожи», — решил я про себя.

Госпожа ласково расспрашивала меня, и я рассказал ей все, ничего не скрывая. Ее голубые глаза смотрели на меня с явным сочувствием.

«Тебе повезло, мальчик, — просто сказала она и, вызвав какую-то

пожилую женщину, приказала: — Присмотрите за этим парнем, Евдокия Ивановна, чтоб он ни в чем не нуждался».

Евдокия Ивановна отвела меня в ванную, принесла чистое белье, указала постель в богато убранной комнате. От обилия впечатлений и усталости я не мог ни о чем больше думать и мгновенно заснул.

...Целую неделю после того не видал я Варвару Давыдовну. Мне сказали, что она с Николаем Петровичем, который выполнял при ней роль ангела-хранителя, уехали в деревню Тарановку, где находилась оставленная ей в наследство мужем, Петром Морозовым, земля — десятин пятьсот. Евдокия Ивановна сообщила мне и то, что из-за этой земли с Варварой Давыдовной тягается брат ее покойного мужа.

До приезда моей благодетельницы я жил припеваючи, постепенно осваиваясь в своем новом обиталище.

Петр Морозов умер бездетным в возрасте шестидесяти лет и оставил после себя большое состояние. Кроме обширных угодий по берегам Днепра, он владел маслобойными и лесопильными заводами, на Дону — мельницами, в Киеве — шоколадной фабрикой и торговым домом.

Молодая женщина, избалованная безбедностью своего существования при муже, после его смерти трезво рассудила, что не сможет управиться с такой многочисленной и разнообразной недвижимостью, и потому все наследство обратила в деньги, кроме поместья, в котором жила. А управляющим назначила пожилого дядьку со стороны матери, юриста Николая Петровича. Он и заправлял сейчас всеми делами, как говорили в доме, — весьма удачно.

И Варвара Давыдовна опять зажила без забот и печали, проводя дни в свое удовольствие. Из шести слуг в доме трое предназначались ей в личное услужение. В конюшне стояли две кареты и двое саней. Конюх сказал мне, что в них, кроме Варвары, никто не садился.

Верхний этаж дома — восемь комнат — занимали сама госпожа и ее любимый дог. Я даже не мог предположить, что у кого-нибудь может быть так обставлен дом, как этот! Однажды я решился заглянуть в спальню госпожи. Прежде всего бросились мне в глаза две старинные, украшенные золотым витьем, кровати. Оконные рамы и переплеты были разрисованы серебряным орнаментом. Тяжелые златотканые занавеси закрывали окна...

Я поражался всему, что здесь видел, нетерпеливо дожидаясь возвращения госпожи. Что нового принесет мне ее приезд? Что побудило Варвару Давыдовну приграть и приютить меня? Может быть, просто она была в каком-то особом расположении духа в тот вечер? Вдруг это настроение пройдет, и, вернувшись из поездки, она даже не взглянет на меня? Тысячи мыслей сверлили мой мозг, тысячи вопросов заставляли меня с нетерпением и опаской поглядывать на железные ворота.

Наконец настал и этот день. Ворота распахнулись, и скакуны галопом примчали карету с Варварой Давыдовной и Николаем Петровичем.

В тот же вечер госпожа позвала меня к себе.

Она полулежала на широкой тахте, кутаясь в просторный шелковый халат и, улыбаясь, дымил папиросой. Увидев меня, она привсталала.

Сейчас молодая женщина показалась мне еще более красивой и привлекательной, чем в вечер первой нашей встречи.

Варвара Давыдовна тряхнула головой, откидывая свесившиеся на лоб белокурые пряди, и протянула мне руку. «Я хочу опять услышать твою историю», — сказала она и прилегла на тахту.

Верно, эта женщина хочет проверить правдивость моего рассказа, — подумал я тогда. Я повторил все снова со всеми подробностями. Да и можно ли забыть что-нибудь, спутать или ошибиться, когда все — правда, все — твоя жизнь.

Когда я закончил, она долго молчала. Задумавшись, потянулась к

тумбочке, достала из золотой табакерки папиросу. Я зажег спичку и поднес огонь.

«У твоего деда — каменное сердце, — сказала она наконец, ^{Вот} какие люди рождаются на свет!». Она присела, оглядела меня с ^{ног до го} лобы, потом украдкой бросила взгляд на свое отражение в большом, до потолка зеркале. «Но ничего, — продолжала она, — такой парень, как ты, не пропадет в жизни». Она взяла меня за руку, изучающе повернула кругом. Я увидел в зеркале ее голубые глаза, но не выдержал их взгляда и опустил голову. Варвара Давыдовна улыбнулась.

«Посмотри, внимательно посмотри на того юношу в зеркале. — Она протянула руку к моему отражению. — Видишь, — он красив, благороден, добр, — во всяком случае, я так думаю. Теперь скажи, что ты о нем думаешь. Только, чур, говорить всю правду!» Она засмеялась и прошла за резную ширму из слоновой кости.

Растерянный, стоял я на месте. Правду говоря, я не понял, что хотела сказать госпожа. Потом, как заговоренный, стал и впрямь внимательно осматривать себя в зеркале вершок за вершком. Я и сейчас помню, словно это было вчера, как я разглядывал, изучал того, другого Игоря из зеркала. Если говорить откровенно, я не могу сказать, как я выгляжу сегодня, есть ли у меня на лице морщинки и какого цвета глаза — черные или карие. Не могу сказать, — но не потому, что у меня слабая память, нет, на память я пока не жаждуясь, она мне не изменяет. Просто, в той жизни, которую я вел, это для меня давно забытые мелочи, о которых у меня не было времени думать.

Теперь я имею возможность не торопясь припомнить все, что заставила забыть меня моя волчья жизнь. Теперь прошел страх — я отлично знаю, что меня ждет. Я знаю: хуже того, что произошло, ничего быть не может. Моя мятущаяся душа теперь успокоится, припомнит прошлое, тысячи раз проклятое мною самим и другими. Тайный голос давно предсказывал мне такой конец.

Господи, ну и свернул я в сторону! Хотел рассказать о себе, каким я был в шестнадцать-семнадцать лет, стоя перед зеркалом в гостиной госпожи Морозовой, а ударился в философию.

Юный Игорь Таманов тогда был высок и строен. Жгучие черные глаза сверкали на смуглом лице. На выпуклом лбу в беспорядке рассыпались спутанные волосы, черные, как ночь. Мускулистая широкая грудь не умещалась в рубаше. Но больше всего меня тогда поразили глаза — их блеск мне самому казался необычным, волшебным.

Я оторвался от затянувшегося самосозерцания только тогда, когда по соседству послышались чьи-то шаги. Вошедший слуга сказал, что госпожа внезапно почувствовала недомогание. Целую неделю я не видел ее.

В один прекрасный день старый управляющий позвал меня к себе и сообщил, что дальнейшая забота обо мне поручена ему. «Вот твой учитель, — сказал Николай Петрович, указывая на сидевшего рядом с ним одноногого человека с волосами, спадавшими до плеч. — Госпожа велела передать, что если ты не будешь лениться и добьешься успехов в учении, она не оставит тебя вниманием».

...Я начал заниматься с большой охотой. Учитель не раз говорил мне, что доволен моими способностями и прилежанием. За три года я узнал много нового. Все это время моя благотельница и покровительница ни разу даже не попыталась заговорить со мной. При случайных встречах она только кивала мне мимоходом и благосклонно улыбалась. Но я знал, что Варвара Давыдовна часто вызывала учителя и расспрашивала о моих успехах.

Учитель мой был человеком знающим и добросовестным. Дни и ночи проводил он со мной, но все же жаловался, что времени не хватает. Он

преподавал мне русский и украинский языки, математические предметы, историю, географию и французский. А еще мы ежедневно беседовали на различные темы. Он рассказал мне о наиболее известных шедеврах мировой литературы, о политическом положении в России и за рубежом, делился своими знаниями о природе. Одним словом, он старался дать мне представление обо всем, что считал полезным в жизни.

И я не делал никаких попыток вырваться из этой замкнутой жизни. Забота и внимание учителя так утихомирили мою страсть к воле и бродяжничеству, что я считал себя счастливым. Отношение ко мне госпожи, учителя и всех домочадцев заставило меня постепенно позабыть о прежних бедах. Я перестал верить в истинность слов моей прежней «духовной наставницы» о том, что зло в жизни всегда побеждает добро.

Шло время. Мне пошел девятнадцатый год. И только теперь я стал понемногу приглядываться к окружающему.

Я стал часто навещать маленький домик в глухом уголке сада. В двухкомнатном деревянном домике жил старый садовник Морозовых с женой и шестнадцатилетней дочерью Лизой. Черноглазая девочка с тонкой шеей и двумя длинными, до щиколоток, косами казалась мне самой лучшей, самой красивой в мире.

Прошел год, прежде чем я решился сказать ей об этом. Когда я сообщил Лизе, что готов пожертвовать ради нее жизнью, она не выразила никакого удивления. Только стыдливо опустила голову и улыбнулась. С этого дня мы почти каждый вечер проводили в излюбленном уголке огромного сада.

Теперь мне кажется, что подлинным счастьем для меня было бы умереть тогда, уснуть и не проснуться. И пусть не думают судьи, что я пытаюсь вызвать у них жалость к себе или же хочу убедить кого бы то ни было в том, что я стал сознательней и добродетельней. Нет, могу смело сказать, что бессознательным, не отдающим себе отчета в своих поступках, я не был никогда. Я всегда знал, что человек рожден для добра. Но тогдашняя несправедливая жизнь вызвала меня на поединок, и я принял вызов. Бог свидетель, что однажды я даже пытался покончить с жизнью, но мое проклятое невезенье и на этот раз помешало мне.

Счастье мое длилось целый год...

Лиза оказалась умной и доброй девушкой. Она с детства любила цветы, овладела искусством своего отца и часто помогала ему. Мы с ней встречались, когда наступала темнота, и, уединившись, мечтали о будущем счастье.

Все это время я лишь изредка встречался с госпожой. Она постоянно бывала в веселом обществе, часто ее друзья приезжали к нам большой шумной компанией, или же она в сопровождении Николая Петровича отправлялась в гости сама.

Однажды вечером я нашел Лизу в обычном месте, но меня поразила ее взволнованный вид. «Отец и мать проведали о наших встречах, — сказала она. — Правда, они отзывались о тебе очень хорошо, но я так перепугалась...». Известие обрадовало меня: рано или поздно, но это должно было случиться.

Со времени начала моих занятий прошло три года. По мнению моего наставника, я был вполне подготовлен к жизни. Наконец, настал долгожданный день. Госпожа пригласила к себе учителя, щедро наградила его на прощание и отпустила на все четыре стороны. Вечером Варвара Давыдовна позвала меня. Я нашел госпожу в одиночестве в приемной. Лицо ее дышало спокойствием и удовлетворением, словно от сознания исполненного долга. Увидев меня, она улыбнулась и протянула руку.

— Теперь мы можем говорить, как равный с равным, не так ли? — спросила она, стоя у глубокого, покойного кресла. — Ты доволен, Игорь?

— О, что вы, госпожа, конечно. Я должен благодарить судьбу, которая привела меня в тот вечер в кафе. — ответил я и смиренно опустил голову.

— Ты уже совершенно самостоятельный молодой человек, образованный и воспитанный. Может, теперь ты хочешь покинуть этот дом? Или сердце твое тянется куда-нибудь в иное место? Не скрывай от меня ничего, я помогу тебе. — Опустившись в кресло, она показала рукой на маленький столик. Я протянул ей папиросы и спички.

— Ну, что ты скажешь? — спросила она, закурив папиросу и издали бросив на столик коробок со спичками.

— О госпожа, не говорите так, — я смело посмотрел ей в глаза. — Я готов всю жизнь служить вам, вы столько сделали для меня...

— Ты хочешь отплатить за добро?

— Да.

— Хорошо, — она довольно кивнула и, встав с кресла, потянулась. — Можешь идти. Только будь в своей комнате, никуда не отлучайся.

Я поклонился и направился к выходу. Отворяя дверь, я непроизвольно оглянулся и снова увидел госпожу. Она стояла на том же месте и с довольной улыбкой глядела мне вслед...

Сидя у окна в своей комнате, я не мог отвести взора от частой россыпи звезд, усеявших небо. Мечта, словно сказочный ковер-самолет, унесла меня в неведомые дали. И всюду рядом со мной, бок о бок и плечом к плечу была Лиза. Сон незаметно сморил меня.

Светало, когда осторожный стук разбудил меня. Отворив дверь, я увидел Евдокию Ивановну. Она испуганно смотрела на меня. «Николай Петрович отдал богу душу», — проговорила она. Перекрестившись, помолчала и снова заговорила: «Госпожа зовет всех к себе. Торопись, Варвара Давыдовна так расстроена...» — И тотчас же исчезла.

Дядя госпожи покоился в приемном зале на первом этаже. Все слуги и домочадцы толпились вокруг него. Здесь же была и Лиза с родителями.

Черное платье делало госпожу еще прекраснее.

У изголовья покойного уже стоял молодой священник и что-то еле слышно бормотал. Варвара Давыдовна оглядывалась вокруг, словно видела собравшихся впервые. Я встал в угол и, опустив голову, стал прислушиваться к молитве. Но сердце не стерпело, я поднял глаза, чтобы взглянуть на Лизу, и как будто почувствовал это, она тотчас обернулась. Долго стояли мы неподвижно, с любовью глядя друг на друга, но потом я усилием воли заставил себя отвести взор.

Снова опустив голову, я исподлобья посмотрел на госпожу и... поразился. Красивое лицо Варвары Давыдовны затуманилось. В глазах блеснули злые искорки. Ноздри раздувались, как будто ей трудно было дышать. Перехватив мой взгляд, она отвернулась. Посмотрела в сторону Лизы, махнула рукой ее отцу. Старый садовник почтительно склонился перед ней, и она что-то зашептала ему на ухо. Повернувшись, садовник позвал дочь, и они вышли.

Мне казалось, что я понял, о чем они говорили. Правда, я тогда еще не знал жизни так, как сейчас, но, право же, нетрудно было догадаться, что могло значить при таких обстоятельствах внимание Варвары Давыдовны. «Неужели госпожа задумала разлучить меня с Лизой», — подумал я.

Николая Петровича хоронили с большими почестями. На следующий вечер утомленная челядь рано отправилась спать. Я тоже собирался ложиться, когда госпожа вызвала меня. Сердце мое застучало в предчувствии важного разговора. «Должно быть, о судьбе Лизы», — гадал я, отправляясь вверх.

Варвара Давыдовна приняла меня, как подобает женщине, находящейся в трауре.

— Я хочу доверить вам весьма серьезное дело, — вполголоса начала она, полулежа в своей излюбленной позе на тахте и дымя папиросой. — Но прежде чем вы за это дело возьметесь, вам следовало бы ознакомиться с моими владениями в Тарановке.

— Утром же отправляюсь туда, — почтительно ответил я.

— Чем раньше вы уедете, тем лучше, — согласилась она. — Надо проверить, что там делает управляющий, как положение с посевами, каков приплод в табуне. Одним словом — посмотрите все. Вернешься, — она снова перешла на «ты», — и сразу же доложишь мне. И тогда я посмотрю, на что ты годен. — Приподнявшись, она не попрощалась и вышла из комнаты.

Такая поспешность, правду говоря, не была мне по душе, но что было делать. На рассвете я отправился в путь.

В Тарановке я пробыл около двух недель. Выполнил все, что мне было поручено, подробно изучил положение дел и собрал необходимые сведения.

Моя тройка подъехала к дому Варвары Давыдовны перед заходом солнца. Госпожи не было дома — она, как мне сказали, отправилась с визитом к кому-то из родственников. Переодевшись с дороги и умывшись, я поспешил в сад, чтобы встретить Лизу. Долго ждал я ее, но тщетно. Вот уже в доме садовника погасли огни, и я, потеряв всякую надежду увидеться с любимой, отправился к себе. Не успел я опереть дверь своей комнаты, как пришла горничная и сообщила, что Варвара Давыдовна вернулась и желает видеть меня.

Я поднялся наверх. Варвара Давыдовна показалась мне успокоившейся, повеселевшей. Она уже сняла траур. Поднявшись навстречу с искренней радостью, она пожала мне руку и снова уселась на свою тахту. Некоторое время она разглядывала меня, словно соскучившись в разлуке, и увидев, что я не выдержал ее взгляда и смущенно опустил голову, засмеялась.

— Теперь ты уже не мальчик, Игорь, можешь не смущаться.

Я робко присел на тахту рядом с ней.

Госпожа даже не поинтересовалась результатами моей поездки в Тарановку. Долго сидела молча, жадно затягиваясь папиросой и поглядывая время от времени на меня, словно хотела что-то сказать и не могла решиться. Затувив папиросу о край пепельницы, она встала и подошла к окну.

— Ты долго ждал Лизу в саду? — неожиданно прервала она затянувшееся молчание. Потом оглянулась, увидела мое растерянное, раскрасневшееся лицо и расхохоталась. Опустилась в кресло, заложила ногу за ногу. Подол парчового халата откинулся, приоткрыв белую точеную ногу. Мои щеки пылали, я опустил глаза.

— Твоя возлюбленная вышла замуж, Игорь! — продолжала насмешливо Варвара Давыдовна. — Променяла тебя на конюха!

Я чувствовал на себе внимательный, испытующий взгляд голубых глаз, но все же не смог сдержать крика:

— Вышла замуж?!

— Ты не знаешь себе цены, Игорь! Ты рожден не для служанок. Судьба улыбнулась тебе, когда ты попался мне. — Она взволнованно ходила по комнате — от тахты к окну и обратно. Потом остановилась около меня. — Я положила на тебя немало сил и трудов. И поверь мне — вовсе не для того, чтобы какая-то садовница, клянясь тебе в любви, валялась в то же время с конюхом в темных уголках. — Она ждала, что я скажу об измене Лизы, как буду реагировать на ошеломляющее известие. Но

теперь я владел каждым мускулом на своем лице. Госпожа выпрямилась и облегченно вздохнула. Для меня все стало ясно.

В моей душе облик Лизы уже затуманился и маячил где-то вдали неясным видением. Она меня больше не интересовала. Я чувствовал, что мне все равно — спуталась ли она впрямь с конюхом или по-прежнему будет поджидать меня в саду.

Я видел — госпожа выказывает явную склонность ко мне. Разве мало бродяг и нищих встречалось ей на пути до меня, но она никому из них не протянула свою спасительную руку. А если так — то чего же еще надо молодому парню в моем положении? Я решил немедленно воспользоваться ее расположением. Чутье подсказало мне нужные слова:

— Нет, теперь-то я понимаю, что никогда по-настоящему не любил Лизу. — Мог ли я сказать что-нибудь иное из страха потерять благосклонность моей покровительницы и остаться без гроша в кармане, без своего места в жизни! И снова тайный голос ехидно зашептал мне на ухо: «Да, верно у тебя и впрямь не было любви к Лизе, однако вижу, что нет у тебя и самолюбия». Эх, может ли быть самолюбие у бедного человека, — мелькнуло у меня в голове.

— Отчего ты загрустил, Игорь! Если от несчастной любви к той сядовнице, то я помогу тебе: накажу конюха, велю ей сегодня же ночью вернуться к тебе. Хочешь? — Вижу — смеется госпожа, с неммым вопросом всматриваются в меня ее голубые глаза.

Неужели она насмехается надо мной?!

Горечь обиды зажгла мне сердце, и оно застучало, будто собираясь выскочить из груди. Встать, уйти? Покинуть этот дом навсегда? Лучше голым бродить по улицам, чем сносить унижение.

— Если сердце влечет тебя к той девушке, можешь уходить, — голос Варвары Давыдовны зазвучал тверже, решительней. Так не говорят со слугами, а только с равными.

Переведа дух, я горячо выпалил:

— У меня нет иного счастья, кроме вас, госпожа!

Долго ждал я ответа на свою дерзость. Варвара Давыдовна не шевелилась. Я тоже не решался больше произнести ни слова. Но верил, что молодая вдова не прогонит меня от себя. Сердце подсказывало, что могут исполниться мои самые неосуществимые мечты. Да и мог ли я когда-нибудь подумать, что эта прекрасная женщина ищет свое счастье и в этих поисках задержала свой взор на мне?..

Я смело взглянул ей в глаза.

— Игорь! — голос у нее дрогнул, и вдруг, неожиданным, легким движением она прижала мою голову к груди и поцеловала горячими пересохшими губами. Я попытался схватить ее в объятия, но она выскользнула, как форель, из рук.

Я не мог прийти в себя — чувства страха, радости, смущения сменяли друг друга. Варвара, опустившись на тахту, лежала с закрытыми глазами и тяжело дышала. Ноздри ее раздувались, как будто принюхиваясь к неведомому аромату. На виске часто билась бледно-синяя жилка. Жар в моей груди нарастал, я сделал шаг к тахте. Но тотчас же дрогнули веки, из-под них пролилось на меня голубое сияние и госпожа шепотом приказала:

— Уходи.

Я повернулся и пошел к двери.

В своей комнате я немного успокоился и лег.

На мгновение в сознании бледной тенью мелькнуло лицо Лизы. Мелькнуло и исчезло, как пролетевшая мимо ласточка, и я даже не проводил его взглядом.

Я считал себя счастливейшим человеком. Любовь молодой вдовы Богача Морозова открыла передо мной широкую дорогу к счастью.

За полночь кто-то толкнул мою дверь. Я вскочил, откинул задвижку. Передо мной, хитро улыбаясь, стояла Евдокия. Заметив мое изумление, она молча взяла за руку и повела к спальне Варвары Давыдовны.

* * *

Прошла всего только одна неделя, а я уже был посвящен во все сердечные дела Варвары Давыдовны. Не знаю, говорила ли она от души, но она всегда поражалась моему опыту и знанию жизни. Сейчас, когда я вспоминаю эту женщину и ее отношение ко мне, верю, что ее сблизила со мной не порочная страсть. Она не походила на развращенных барышек, каких было много в то взбудораженное время. А о себе могу сказать, что я и вправду полюбил ее.

Я не мог прожить дня, не увидев ее, а если возле нее оказывался кто-нибудь из старых знакомых или родственников, приступы яростной ревности терзали мою душу, пока непрощенный гость не скрывался за воротами. И когда мы оставались одни, Варвара Давыдовна горячо обнимала и целовала меня, говоря: «Сильную ревность порождает сильная любовь».

В доме все стали относиться ко мне с подчеркнутым уважением. Я переселился в новую комнату — побольше и поближе к спальне госпожи. Как-то незаметно для себя я довольно скоро превратился в полномочного распорядителя всего состояния вдовы.

Она нередко признавалась мне, что ей надоело таить нашу любовь от людей, скрываться по-воровски от целого света. И в такие минуты глаза ее мерцали волшебным голубым светом, который заставлял меня забыть обо всех горестях.

Когда Варвара Давыдовна отправлялась на прогулку, я всегда сопровождал ее. Мы сидели рядом в открытой коляске, на виду у целого мира, и беседовали как равные. Скоро я был принят в домах всех знакомых и друзей вдовы-миллионерши. «Этот юноша — мой новый управляющий», — представляла она меня, но в ее тоне каждый мог почувствовать: то, что нас связывало, больше и сильнее, чем деловые отношения госпожи и управляющего.

Слух о наших отношениях распространился по городу. Но ни меня, ни Варвару вовсе не интересовали эти разговоры. Меня радовало, что она, красивая и умная женщина, не только полюбила меня со всей искренностью, но и не остереглась всевозможных пересудов и сплетен, косящих взглядов и полускрытых намеков, вызванных «скандальной связью с человеком без роду и племени». Я прекрасно понимал, как трудно было ей решиться на это, и старался отплатить преданностью и почтительностью.

Проезжая по улицам Киева, мы чувствовали на себе завистливые взгляды знакомых и незнакомых. Каюсь, что уже тогда — в девятнадцать лет — я знал себе цену.

Целый год ничто не омрачало нашу радость. Я работал на совесть — крутился волчком по всяким делам в Киеве, выезжал в Тарановку, старался ничего не оставить без внимания в сложном и разбросанном хозяйстве. И Варвара Давыдовна не раз выказывала одобрение моей работе. Она передоверила мне дела, вручила ключи от сейфа, оформила на меня доверенность, подарила для разъездов коляску. Я подписывал за нее все счета и расписки...

Почти каждый месяц приходилось мне наезжать в Тарановку, но Лиза ни разу не попала на глаза. Ее родители и муж-конюх обращались со мной как с хозяином, с почетом и уважением, но моя первая любовь явно скрывалась, избегая встречи. Откровенно говоря, я и не разыскивал ее. Правда, до сих пор при одном воспоминании о ней мое сердце начинало биться чаще, но у меня была Варвара...

Однажды — это было в воскресный день — Варвара вернулась из церкви взволнованная, торопливо взбежала по лестнице и скрылась в своей спальне. Когда я вошел к ней, она стояла, прижавшись лбом к окну, и нервно потирала руки. Пожалуй, впервые за все это время я видел ее такой расстроенной. Увидев меня, она бросилась мне на грудь и прошептала:

— Из Швейцарии приехал мой деверь...

Мне все стало ясно. Варвара Давыдовна не раз говорила, что ей стыдно будет смотреть в глаза только ему — Сергею Ивановичу. Он был тяжело болен и почти все время лечился в Швейцарии. Он, как будто, пока не собирался возвращаться в Россию, но, видать, слухи о компрометирующем поведении невестки каким-то образом дошли до него. И он заспешил домой, чтобы спасти состояние своего брата, попавшее в руки проходимца.

На пути в церковь Варвару Давыдовну встретил его слуга и повел ее к Сергею Ивановичу. Там собрались крупнейшие киевские помещики и фабриканты, купцы и чиновники. Я представил себе сцену, которую деверь подготовил для встречи Варвары Давыдовны.

Растерянная женщина вынуждена была сознаться во всем. Собравшиеся вынесли свой приговор: если она не расстанется со мной, все общество отвернется от нее. Но Варвара решительно заявила: «Мое решение неизменно!» — и убежала домой. На другой день весь Киев уже знал об этом. Варвару Давыдовну преследовали и травили. Мы оказались в одиночестве, как путники в пустыне, отставшие от каравана. Со мной перестали здороваться. Вдогонку мне на улице неслись обидные выкрики: «Бродяга!», «Вор!», «Проходимец!». Не раз порывался я проучить трусливых крикунов, но Варвара удерживала меня, успокаивала:

— Скоро продадим все, что у меня есть, и уедем отсюда!

Обратив в деньги все добро, бывшее в Киеве и Тарановке, Варвара Давыдовна оказалась обладательницей десяти миллионов рублей. Мы вдвоем отправились в Италию. По пути остановились на два дня в Одессе: здесь я сочетался браком с Варварой Давыдовной Морозовой и, таким образом, стал законным владельцем всех ее богатств.

Из Одессы мы морем выехали в Неаполь.

Когда наш корабль взял курс к бирюзово мерцающей Пелагоне, я вздохнул, как человек обретший желанное освобождение. Мне верилось, что там, в чужой стране, я смогу жить по-новому — смело, не сгибая спины. Будущее рисовалось мне в радужных красках. Счастье, которое казалось столь недоступным, теперь у меня в руках, — думал я. Рядом со мной жена — любящая, красивая, богатая. Она ждет от меня такой же искренней любви, и я не обману ее...

Констанца, Стамбул, Палермо, Неаполь... Оттуда — в великий Рим.

Окончание следует

Шалва ГОЗАЛИШВИЛИ

Певец революции

На заре рабочего революционного движения в Грузии впервые прозвучал боевой поэтический голос Иродиона Евдошвили, выдающегося представителя грузинской революционно-демократической поэзии. Его стихи: «Буря», «Друзьям», «Песня» и другие были подхвачены рабочей массой, распевавшей их во время революционных выступлений, на митингах, на демонстрациях. В этих произведениях трудящиеся находили отражение своих заветных чаяний, призыв к революционной борьбе.

Велика была в те годы популярность И. Евдошвили как поэта-трибуна, неутомимого борца и певца революции. Интерес к его литературному наследию с годами усиливался, но лишь после установления Советской власти в Грузии творчество Иродиона Евдошвили получило достойную оценку, начало глубоко изучаться и популяризироваться.

* * *

И. Евдошвили начал писать стихи, сатирические сценки и водевили еще в семинарии, где он учился с 1890 по 1893 год.

Образцы раннего периода творчества поэта не сохранились в его архиве и восстановить их впоследствии уже не удалось. Случайно найдены лишь стихотворения: «Я видел розу среди крапивы», «Месяц» и «Лужа». Сведения о них встречаем только в воспоминаниях его современников. Рукописные тетради поэта со стихами и водевилями переходили среди семинаристов из рук в руки. Особенным успехом пользовались сатирические стихи, направленные против бездушных чиновников и «духовных отцов» семинарии.

Воспитанный на традициях классиче-

ской грузинской литературы второй половины XIX столетия, И. Евдошвили с первых же лет своей литературной деятельности воспринял прогрессивные идеи и боевой патриотизм грузинских писателей-шестидесятников.

Эпиграфом к своему раннему стихотворению «Я видел розу среди крапивы» поэт предпослал слова героя поэмы великого грузинского поэта И. Чавчавадзе «Разбойник Како»:

Диво ли считать счастливца братом?
Нет, не этим славен подвиг твой!
То ли дело — братство с небогатым,
Угнетенным горькою судьбой!

Эти слова И. Евдошвили сделал девизом своей жизни.

Илья Чавчавадзе, издававший газету «Иверия», охотно печатал произведения молодого поэта, выражавшего идею борьбы за счастье и благополучие народа. Вместе с тем в его творчестве сильны общечеловеческие мотивы. Поэта тревожат думы о неразрешенных социальных проблемах, порожденных социальным неравенством. Эти переживания нашли яркое отражение в ряде его стихотворений.

Из напечатанных в «Иверии» произведений И. Евдошвили особый интерес представляют стихотворения на общественно-политические темы. Поэт признает неизбежность классовой борьбы, твердо верит в необходимость революционной борьбы с оружием в руках. В грузинской литературе того периода не было стихотворения, которое бы по своей художественной силе, высокому социальному пафосу и жажде борьбы могло бы сравниться со стихотворением И. Евдошвили «Друзьям».

Знаменательно, что во время демонстрации рабочих и учащейся молодежи в Кутаиси в 1905 году Владимир Мая-

новский распевал это стихотворение; он часто декламировал его также на митингах.

Любовь к трудящимся, беззаветная борьба ради уничтожения их страданий, призыв стать под «знамя справедливости», ненависть к угнетателям, единство, братство, свобода народа — вот основные мотивы творчества И. Евдошвили в первые годы его литературной деятельности.

Глубоко переживая социальную несправедливость, И. Евдошвили пишет ряд стихотворений, посвященных героическому прошлому Грузии; пробуждая в народе благородное чувство самоотверженного патриотизма, героизм и доблесть, они содействовали подъему революционного порыва народных масс.

В своих произведениях И. Евдошвили отобразил жизнь угнетенных в условиях развития капиталистического общества. По мнению поэта, основанный на беззаконии капиталистический строй ведет к обнищанию народных масс, содействуя развитию проституции, разврата, увеличивая число уголовных преступников.

В поэмах «Елена» и «Последний день приговоренного к смертной казни» явно ощущается протест И. Евдошвили против господствовавшего в обществе того времени социального неравенства.

В творчестве И. Евдошвили сильно влияние народной поэзии. На ее основе им было создано много стихотворений, поэм и рассказов.

В период сотрудничества в газете «Иверия» основное настроение творчества И. Евдошвили — глубокий оптимизм, вера в победу народа над темными силами реакции. Однако в некоторых стихотворениях того времени заметны и мотивы безнадежности, тоски и скорби. Это даже послужило тому, что критик К. Абашидзе тенденциозно объявил И. Евдошвили pessimистом наряду с Арагвиспирели, Цахели и другими представителями грузинской литературы 90-х годов. Этот ошибочный взгляд был опровергнут основателем марксистско-ленинской литературной критики в Грузии А. Цулукидзе.

* * *

Со второй половины 1896 года И. Евдошвили уже находился в рядах «Месаме даси», под идейным влиянием которой началась его последующая общественно-литературная деятельность.

Период с 1896 по 1903 год характеризуется подъемом и расцветом творчества поэта, которое развивалось и углублялось под благотворным влиянием революционного движения рабочего

класса в Грузии. Теперь поэтический голос И. Евдошвили приобретает политическое звучание.

В связи с подъемом рабочего движения в России и Закавказье, в творчестве И. Евдошвили крепнет и мужает вера в революционную борьбу. В стихотворениях, написанных после 1899 года, И. Евдошвили обращается с призывом к широкому рабочим массам принять участие в революционном движении, развернуть политическую борьбу за свержение самодержавия. Одно из таких стихотворений — «Песня» («Песня в майскую ночь») являлось непосредственным откликом на первомайские митинги 1900 года. В те исторические дни на заре двадцатого века И. Евдошвили зажигал сердца рабочих пламенем своей поэзии.

Стихи И. Евдошвили насыщены боевым революционным духом, глубокой верой в грядущую победу, страстным призывом к борьбе против самодержавия и капитализма.

Строка «Уже подымается буря, предвестница зари» из стихотворения «Песня» приведена в прокламации «Рабочие Кавказа, пора отомстить», написанной в январе 1905 года.

Ряд стихотворений посвящен Первому мая. В грузинской поэзии Евдошвили считается первым, кто воспел Первомай.

И после поражения первых рабочих демонстраций стихи И. Евдошвили продолжают призывать к борьбе до победного конца.

Заслуживает внимания следующий факт из революционной и литературной деятельности Евдошвили после Второго съезда РСДРП, когда внутри партии еще больше обострилась борьба между большевиками и меньшевиками и газета «Квали» превратилась в орган грузинских меньшевиков: с августа 1903 года И. Евдошвили окончательно порывает с большинством «Месаме даси», оставляет работу в редакции и перестает сотрудничать в газете.

Глубокая идейно-политическая основа этого поступка делается очевидной, если проследить за литературно-революционной деятельностью поэта того периода, протекавшей под непосредственным влиянием меньшинства «Месаме даси» в лице Ладо Кецховели.

Непосредственным проявлением этого было сотрудничество И. Евдошвили в первой нелегальной грузинской газете «Брдзола», в которой были напечатаны революционные стихи поэта и его переводы революционных песен.

Еще до недавнего времени не были установлены имена авторов двух стихотворений («Брдзола»¹ за подписью

¹ Газета «Брдзола» («Борьба»), 1901, № 2—3.

Х (икс) и «Братья, выйдем на поле боя!»¹ под псевдонимом «Буки»), напечатанных в газете «Брдзола». Оставались неизвестными и переводчики помещенных в той же газете переводов с русского языка известной революционных песен «Варшавянка»² и «Марсельеза»³.

Тщательный литературный анализ и другие исследования привели к выводу, что автором стихотворений «Брдзола» и «Братья, выйдем на поле боя!», так же как и переводчиком песен «Варшавянка» и «Марсельеза» является одно и то же лицо. И это лицо — Иродион Евдошвили.

Что же дает основание для такого предположения?

Помимо общности содержания, идейного замысла, революционного пафоса, поэтической лексики названных стихотворений и переводов, нас убеждают в этом воспоминания Ивана Малхазовича Надирашвили⁴ — близкого друга И. Евдошвили, живого свидетеля его революционной деятельности.

Достоверные сведения об авторстве отмеченных стихов И. Евдошвили и его переводах дают нам в своих воспоминаниях и некоторые жители деревень Кахетии, которые были причастны к крестьянскому революционному движению 1905 года. На протяжении этого времени они часто встречались с И. Евдошвили, которого лично знали, и слушали его стихи на митингах, собраниях и съездах крестьян.

Стихотворение «Брдзола» («Борьба») посвящено основанию первой нелегальной революционной социал-демократической газеты «Брдзола». Она, по глубокому убеждению Евдошвили, является единственным «глашатаем истины, тьмой окутанного, подявшего и пробуждающегося народа».

Примечательно, что за подписью Х (икс), под которой было опубликовано это стихотворение, впоследствии, в 1909 году, в газете «Дрозба» печаталась серия статей из жизни деревень Кахетии, которые, бесспорно, принадлежат Евдошвили.

Стихотворение «Братья, выйдем на поле боя!» — первомайская песня, в которой с огромной силой звучит пла-

менный призыв к свержению старого мира, ненавистного царизма.

Этими стихотворениями и переводами открывается новая страница в жизни и творчестве писателя — борца за свободу грузинского народа.

Газета «Брдзола» сыграла большую роль в развитии грузинской революционной поэзии, а также в деле перевода блестящих образцов русской революционной поэзии и их распространении среди рабочих Закавказья.

Перевод Иродионом Евдошвили «Варшавянки» выполнен по личной просьбе Ладо Кецохели, как основателя и издателя газеты «Брдзола», при его идейно-литературной помощи. Поэтому грузинский текст «Варшавянки» имеет определенное значение в грузинской революционной поэзии.

Еще более значительным, чем «Варшавянка», явлением в истории грузинского революционного движения было появление в 1902 году на страницах газеты «Брдзола» (№ 4) первого грузинского перевода «Марсельезы», осуществленного И. Евдошвили. Правда, опубликован он был без подписи.

Перевод «Марсельезы» выполнен поэтом также при непосредственном участии и по указанию Ладо Кецохели.

Вновь переведенная в 1907 году Иродионом Евдошвили «Марсельеза» Руже де Лилия в корне отличалась от первого варианта, который состоит из семи восьмистроичных строф, где после каждой восьмой строки следует четырехстрочный припев.

Очень часто в процессе перевода один и тот же текст поэт дает в нескольких вариантах или в различной редакции. Это характерно для творческой практики Евдошвили.

В качестве иллюстрации, кроме вышеприведенных образцов, приведем неизвестный до последнего времени осуществленный И. Евдошвили в разные годы в трех различных вариантах перевод «Интернационала».

Поэт с большой любовью и ответственностью выполнил перевод этих документов большого политического значения. Напечатанные без подписи в «Брдзола», они так быстро распространились по всей Грузии, настолько вошли в плоть и кровь труящихся масс, что впоследствии даже более тщательные переводы не смогли их вытеснить.

Впервые напечатанный в «Брдзола» текст «Марсельезы» с небольшими редакционными вариантами в июне 1904 года отдельной прокламацией издал Тбилисский комитет РСДРП, а затем, в предмайские дни 1905 года значительно

¹ «Брдзола», 1902, № 4.

² Там же, 1901, № 1.

³ Там же, 1902, № 4.

⁴ Иване Надирашвили (1881—1962). Знаком письменности, любитель литературы. Он знал наизусть многие революционные стихи И. Евдошвили. В течение 1901—1905 гг. в Тбилиси на рабочих демонстрациях и во время выступлений вместе со всеми он распевал эти стихи.

большим тиражом — Комитет Кавказского Союза РСДРП.

* * *

Воспоминаниями современников, а также обнаруженными записями доказано, что написанные в период революции 1905 года стихотворения «Народ стонет» и «Настало время, пробил час» также принадлежат И. Евдшовили.

С августа 1903 года, после разрыва с газетой «Квали», произведения И. Евдшовили печатались, главным образом, в следующих периодических изданиях: газета «Цнобис пурцели», иллюстрированное приложение к «Цнобис пурцели», «Иверия», «Могзаури», «Накадули», «Чвени цховреба», «Дро», «Ахали цховреба», «Мнатоби» и др.

В период революции 1905 года основными темами творчества И. Евдшовили являются: жизнь и борьба рабочего класса, революционное движение, забастовки и стачка, демонстрации рабочих, самоотверженная борьба рабочего класса с главным врагом — царизмом. В стихах, песнях, сатирических фельетонах политического характера, а также в своих прозаических произведениях И. Евдшовили не только описывал жизнь и революционную борьбу рабочего класса, но смело и решительно выдвигал идею подчинения литературы интересам революции и народа. И в жизни поэт руководствовался этим принципом, отдавая интересам революции и народа все свои творческие силы, весь свой талант.

Значительное место в творчестве И. Евдшовили занимает также политическая сатира, направленная, в основном, против бюрократического аппарата царизма и всех тех, кто гнул перед ним спину. Сатира являлась тем грозным оружием, с помощью которого поэт беспощадно разил врагов трудового народа, возбуждая в массах горячую ненависть к ним и, таким образом, содействуя развитию революционной борьбы.

Смелые, обличительные сатирические стихи И. Евдшовили были как бы первой ласточкой боевой революционной поэзии в Грузии.

Среди произведений поэта, опубликованных в 1905 году, выделяется поэма «Рабочий и Муза», в которой показаны тяжелые условия жизни рабочих в капиталистическом обществе. С помощью резких контрастов, взятых из действительной жизни, автору удалось создать яркое художественное полотно. Отвергнув тезис «искусство для искусства», И. Евдшовили развил в этой поэме реалистическую теорию лучших представителей грузинской классической литературы шестидесятых годов, согласно которой искусство должно служить народу.

При этом основную задачу искусства, поэзии И. Евдшовили видит не в абстрактной идее служения народу вообще, а в служении трудовому народу в революционной борьбе, в его освобождении от всяческого угнетения.

В творчестве И. Евдшовили сравнительно большое место уделено показу быта грузинского крестьянства в период первой русской революции. Поэт отлично понимал, что крестьянство является значительной силой в борьбе за уничтожение капиталистического гнета и свержения самодержавия. И. Евдшовили показывает не все крестьянство, а лишь неимущих, малоземельных крестьян и батраков, которые лишены необходимых средств существования и испытывают тяжелую эксплуатацию.

Даже после поражения революции 1905 года, в первые годы господства реакции (1906—1907 гг.) И. Евдшовили сохранил глубокую веру в конечную победу над самодержавием. Произведения поэта этого периода проникнуты оптимистическими настроениями трудовых масс, временно потерпевших поражение в борьбе с царизмом, но глубоко верящих в грядущую победу. С большим мастерством нарисовал поэт картины произвола разнузданной реакции, когда жандармы губили лучших сынов народа. Стихи И. Евдшовили вносили в массы уверенность, стойкость, неиссякаемую жажду борьбы.

В стихотворении «Воспоминание» поэт воскрешает в памяти прошедшие грозные дни революции, смело и беспощадно разоблачает врагов ее — меньшевиков и всех тех, кто на словах боролся за интересы народа, а на деле изменял ему.

Лирично и тепло, с большой любовью нарисовал поэт героические образы самоотверженных борцов за свободу. На бессмертных примерах этих народных героев он воспитывал в народе твердость духа и учил его преданности общему делу.

Стихотворение «На могиле героя», посвященное выдающемуся политическому деятелю и революционеру Ладю Кепхвели, представляет собой значительный художественный документ, определяющий идейно-политическое и общественное значение творчества И. Евдшовили в период революции 1905 года.

Писателем переведено на грузинский язык большое количество стихов, прозаических и драматических произведений русских и иностранных авторов. Большинство из них находится в органической связи с творчеством самого поэта. Русская революционная поэзия оказала сильное влияние на творчество И. Евдшовили. В 1900—1907 гг. он перевел много произведений, отвечавших его идейным и литературным

целям и стремлениям («Интернационал», «Варшавянка», «Первое мая», «Красное знамя», «Песня рабочего», «Марсельеза», «Песня рабочих обновленной России», «Реакция нам не страшна», «Братья, знамя развернулось» и др.).

Любопытно и знаменательно, что И. Евдошвили первым — в мае 1901 года — перевел на грузинский язык «Песню о буревестнике» М. Горького, но напечатать тогда ее не мог, ввиду запрещения царской цензурой, и в Грузии она распространилась в рукописном виде.

Как Максим Горький в России, Леся Украинка на Украине, Иродион Евдошвили был первым в Грузии писателем, который воспел борьбу за свободу трудового народа — пролетариата, сплоченного под красным знаменем революции.

В новейшей грузинской литературе И. Евдошвили известен, главным образом, как поэт-лирик. В действительности же его литературная деятельность значительно шире и многообразнее.

В грузинском литературоведении мало внимания уделялось И. Евдошвили как мастеру прозы; эта сторона его творчества осталась почти не исследованной, если не считать нескольких небольших по объему и скудных по содержанию критических статей.

Наряду с Шию Арагвиспирели и Чола Ломтатидзе, И. Евдошвили является выдающимся мастером малых форм в грузинской художественной прозе.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия в русской литературе получили широкое распространение произведения малых форм. Это нашло отклик и в грузинской литературе. И. Евдошвили, который был хорошо знаком с творчеством передовых представителей русской классической литературы, подобно Чехову, создал цикл рассказов, новелл и эскизов и перевел ряд рассказов А. П. Чехова («Шведская спичка», «Мыслитель», «Упразднили», «Справка», «Орден», «Смерть чиновника», «Не в духе», «Шило в мешке», «Сонная одурь», «Толстый и тонкий», «Надлежащие меры» и др.).

В области художественной прозы И. Евдошвили выступает как оригинальный и вполне самостоятельный писатель, основная тема которого — борьба с царизмом, угнетателями бедного крестьянства и рабочего класса.

В 1903 году И. Евдошвили начал печатать в газете «Квали» рассказ «Разбойник». Но цензура запретила его и окончание этого рассказа осталось неизвестным. Тема его — жизнь кахетинских крестьян в 900-х годах. Сюжетом послужил эпизод, имевший место в действительности, а прототипом глав-

ного героя — пастуха Ило Ардивашвили — известный народный герой Мика Чучулашвили-Мперлишвили.

Почти для всех рассказов И. Евдошвили характерны социальная и политическая заостренность и показ классовых противоречий тогдашнего общества.

Под названием рассказа «Разбитый идол», написанного в 1903 году, писатель ставит подзаголовок «Из прошлого». Это сделано исключительно с целью избежать цензурных рогаток. В рассказе, проникнутом глубоким оптимизмом, верой в победу рабочего класса, аллегорически изображается борьба с самодержавием.

Во втором рассказе под тем же названием, написанном уже в ноябре 1905 года, автор с большим художественным вдохновением воспроизвел величественную картину могучего революционного восстания.

Прозаические произведения И. Евдошвили указанного периода, проникнутые революционным пафосом борьбы, разжигали в сердцах трудящихся ненависть к царскому самодержавию и призывали их к борьбе. Писатель сравнивает самодержавие с гнилым и смрадным болотом, которое на протяжении столетий отравляло и губило народ. Символическое изображение этого дано в рассказе «Скопище змей».

В новелле «В тюрьме», опубликованной в бурные дни революции 1905 года, И. Евдошвили запечатлел бессмертный образ Ладо Кецховели, злодейски убитого царскими жандармами 30 августа 1903 года в Метехской тюрьме. Образ пламенного революционера дан писателем чрезвычайно реалистично, живо. И в этом ценность новеллы.

Почти неизвестный рассказ И. Евдошвили — «Теням погибших», также был написан под впечатлением революционной деятельности Ладо Кецховели. В этом рассказе даны светлые образы жертв революции 1905 года, погибших в мрачных застенках царизма. Ладо Кецховели изображен здесь в молодые годы.

В прозе И. Евдошвили видное место занимают небольшие юмористические рассказы, очень тонко высмеивающие отрицательные стороны общественной жизни.

И. Евдошвили пробовал свои силы и в области драматургии. В 1903 году он напечатал оригинальную комедию-фарс «Пестрая скатерть», в которой изобразил встречающиеся в то время типы «легкомысленных патриотов и легкомысленных молодых людей, желающих во что бы то ни стало стать писателями».

В архиве писателя сохранилась вторая оригинальная пьеса — неизвестный

водевиль под названием «Врач», в трех действиях. Два первых дошли до нас полностью, третье — имеет лишь начало.

Кроме этого И. Евдшвили перевел ряд пьес с русского языка.

С честью продолжал И. Евдшвили славные традиции, заложенные в грузинской детской литературе Акакием Церетели и Яковом Гогешвили.

Детские рассказы и стихи И. Евдшвили, написанные простым и вместе с тем высокохудожественным литературным языком, пробуждали в юном поколении ненависть к социальной несправедливости и злу, развивали и укрепляли любовь к родному языку, загородное чувство патриотизма. Многие из его детских стихотворений и рассказов, опубликованные в периодической прессе, в дальнейшем не переиздавались; поэтому по настоящее время они остаются вне поля зрения исследователей творчества писателя.

* * *

Эпоха реакции наложила свой отпечаток на произведения поэта того периода: на первый план выступают настроения безнадежности, усталости и скорби, мотивы, выражающие колебание и разочарованность. Тяжелые годы реакции ослабили в поэте яркое пламя революционной борьбы, надломил его силы и наполнили сердце горечью.

Поэт сам говорил, что это уже «не та песня, не те звуки лиры, которые зажигали огонь, разгоняли печаль».

Мотивы безнадежности и разочарования, появившиеся в творчестве поэта в период реакции, в дальнейшем еще более усугубились в результате постоянного преследования и притеснения со стороны царизма. Арест, тюрьма, мрачные годы ссылки и, наконец, тяжелая болезнь окончательно подорвали силы поэта, сломили его боевой дух.

В творчестве поэта указанного периода проявились тяжелые переживания человека, преследуемого за революционную работу, оторванного от родины и сосланного в далекие дунские края. В ряде стихотворений чувствуется глубокая любовь к угнетенному народу. Страдание и скорбь поэта, находящегося в ссылке в далекой Сибири, усиливались при мысли, что его народ в тяжелом положении, что в родном краю раздавались «стоны, рыдания, стенанья» и «даже во сне горькие вздохи!»

Несмотря на безнадежность и разочарование, характерные для второго периода творчества И. Евдшвили, он сумел даже в эти годы создать цикл произведений, в которых звучит твердая вера в конечную победу трудового народа, непримиримость и глубокая ненависть к царизму, к буржуазному обществу строю.

И в мрачные годы реакции поэт остался непримиримым врагом самодержавия, пламенным певцом борьбы за свободу родины и народа.

* * *

И. Евдшвили видный представитель критического реализма 90-х годов прошлого столетия, занявший особое место в развитии новейшей грузинской литературы. Вместе с тем его можно считать достойным предтечей социалистического реализма, ибо он не только критически отображал существующую действительность, но и указывал революционный путь ее преобразования.

И. Евдшвили создал литературную школу писателей революционных демократов.

Основная часть литературного наследия И. Евдшвили как революционной поэзии, так и прозы вошла в грузинскую литературу и заняла в ней достойное место.

Станислав РАССАДИН

“Чужое вмиг почувствовать своим”

Заметки о переводах

I

Всем известен пушкинский афоризм: «Переводчики — почтовые лошади просвещения».

Это сказалось счастливо, легко и крылато. Это многим запомнилось, как формула. Стало казаться, что эта фраза — как всякая формула — претендует на то, чтобы быть по сути исчерпывающей.

Между тем она ничего не исчерпывает, Пушкин смотрел на переводчика вовсе не только как на пособника просвещения, но и — пожалуй, прежде всего — как на художника, способного подвинуть вперед русскую литературу, как на соратника и соперника.

В заметке, посвященной выходу в свет «Илиады Гомеровою», переведенной Гнедичем, Пушкин писал: «Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность».

Если судить по всей совокушности пушкинских высказываний о переводе и переводчиках, именно эта сторона казалась ему главной.

Как только речь заходит о переводах Гнедича и об отношении к ним Пушкина, всем вспоминается в общем одно и то же:

Крив был Гнедич поэт, преложитель
 слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его
 перевод.

Это, конечно, тоже счастливое выражение, остроумное и изящное. Но мы его знаем только благодаря текстологам: в черновиках Пушкина это двустишие старательно замазано, да, кажется, Пушкин и не читал его никому, даже друзьям. Вероятно, считал этот каламбур неуместным и несправедливым, сказавшимся случайно. Опубликовал он

другое двустишие, посвященное тому же переводу:

Слышу умолкнувший звук
 божественной эллинской речи:
Старца великого тень чую смущенной
 душой.

И это был не просто почтительный поклон человеку, закончившему многолетний труд. Не просто дружеский комплимент.

В поэзии ложь не удастся никогда. Вернее, ее всегда можно изобличить. Всегда можно понять, с какой степенью искренности написано то или иное стихотворение.

Двустишие Пушкина — может быть, самое короткое, но тем не менее замечательное лирическое стихотворение. Оно-то уж написалось не просто так, а с участием сердца.

В самом деле: в нем воплощено настоящее чувство. После торжественной, несколько даже высокопарной первой строки, после «божественной эллинской речи» вдруг возникает — неожиданно и потому особенно сильно — лирическое волнение. «Чую смущенной душой» — это удивительно точные слова, передающие едва ли не физическое ощущение от встречи с великим поэтом древности. Пушкин здесь больше не произносит слов торжественной благодарности, он сам оказывается действующим лицом своего стихотворения. Это сам он встречается с Гомером, и смущен, и растерян, и горд этой встречей.

Сходное чувство звучит и в его письме Гнедичу:

«Когда ваш корабль, нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожиданье толпы, стыжусь Вам говорить о моей мелочной лавке № 1. — Много у меня начато, ничего не кончено...»

Конечно, в этом есть доля — нет, не кокетства, а просто желанья сказать товарищу по перу приятное слово. Воз-

можно, здесь и недовольство тем, что собственные литературные дела идут не так, как хотелось бы. Но главное — и вправду как было не замереть и не смутиться, когда рядом, в русской словесности впервые появлялся Гомер. И в этом пушкинском самоуничтожении опять-таки не было ни нарочитости, ни лести. Было безграничное уважение к тому, что вносил Пнедич в отечественную поэзию.

Да, переводчик — не только перекладная почтовая лошадь просвещения». Конечно, он выполняет и эту роль, но не ограничивается ею, если он настоящий переводчик. Если не ставит сам перед собой малую задачу.

А если ставит, то с самого начала выводит себя за пределы подлинного искусства. У творчества не может быть скромных, а тем более узкоутилитарных задач: скажем, познакомить читателя с таким-то иноязычным поэтом. «Познакомить» с ним нас может (или, во всяком случае, сможет) и кибернетическая машина. У художественного перевода всегда была иная задача, точнее, иной стимул.

В. Я. Брюсов писал:

«Пушкин, Тютчев, Фет брались за переводы, конечно, не из желания «послужить меньшей братии», не из снисхождения к людям недостаточно образованным, которые не изучили или недостаточно изучили немецкий, английский или латинский язык. Поэтов, при переводе стихов, увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание — «чужое вмиг почувствовать своим», — желание завладеть этим чужим сокровищем. Прекрасные стихи — как бы вызов поэтам других народов: показать, что и их язык способен вместить тот же творческий замысел...»

И сколько бы ни распространялось образование, как бы ни ширилось в обществе знание иностранных языков, — работа поэтов-переводчиков не прекратится».

Брюсов говорит об одной стороне творчества, в данном случае переводческого, — о собственном, авторском наслаждении, о «желании завладеть... чужим сокровищем». Можно договорить: переводчик завладевает сокровищем не затем, чтобы запереть его в своем сундуке. Он завладевает им для своего народа, для своего языка.

Исследователи стилистики перевода (и вообще художественной стилистики) проделали уже колоссальную работу по изучению выразительных и изобразительных возможностей русского языка, по их систематизации и даже учету. Но они очень мало занимаются психологией творчества и — что важнее — психологией восприятия, ее общими за-

конами и национальными особенностями.

Между тем переводчику, например, необходимо знать и понимать не только переводимого автора, даже не только тайны чужого и своего языка, но и психический склад своих читателей.

Перевести на русский язык значительного зарубежного поэта — скажем, Гейне — это значит не просто поставить читателя в известность о его темах, приемах, ритмах и рифмах. Задача настоящего, художественного перевода принципиально иная: произвести на душу русского читателя именно то воздействие, которое производит Гейне на немецкого. Конечно, не надо понимать это слишком буквально: читатели и в Германии и в России бывают разные, да и времена меняются, но человеческая душа — инструмент в общем постоянный. И надо найти в ней те струны, что отзовуся душевным струнам Гейне. Только тогда «русский Гейне» займет свое место не только на полке с переводами, но и в «отечественной словесности», и в истории русского духа.

В последние годы мы часто пишем и говорим о том, как неслыханно вырос у нас уровень переводческой техники и вообще уровень переводческой культуры. Слушать все это приятно — тем более, что это правда. Действительно, создана русская школа перевода — как принято говорить; целая армия высококвалифицированных, культурных переводчиков. Созданы, таким образом, наилучшие предпосылки для выдающихся переводческих побед.

Но только предпосылки! Смешно было бы полагать, что теперь все научно выверено, что исключены все неожиданности и все случайности, что налажен автоматический поток замечательных переводов.

Слава богу, дело обстоит иначе. Искусство всегда связано с неожиданностями и случайностями. Каждая его удача имеет свои предпосылки (и, чем они лучше, тем удача вероятнее), но она все-таки обусловлена прежде всего индивидуальностью художника. В том числе и удача в художественном переводе.

У нас есть русский Шекспир и русский Вернс, Гете и Данте, Рабле и Сервантес. Рядом с этими именами мы называем тех, кто осуществил чудо перевода — Пастернака и Маршака, Лозинского и Любимова. И нам пока некогда назвать рядом с Гейне.

Я не случайно еще раньше завел речь о переводах Гейне. Неудача порою может объяснить больше, чем удача. А судьба Гейне в России пока еще неудачна.

Это тем более удивительно, что мало кто из иностранных авторов был у нас так известен и так переводим. По словам Н. Берковского, «ни один западный

поэт, после Байрона, не приобрел в русской литературе такой славы и любви, какую пользовался Гейне с 30—40-х годов прошлого века».

Все так, Гейне у нас любили и переводили по многу раз одни и те же его стихи, спорили вокруг него, подражали (в 40—50-х годах прошлого столетия создавался даже штамп «стихотворения из Гейне»), но переводы эти чаще всего были малоудачными.

Разноликость дореволюционного Гейне прямо-таки потрясающая. Демократические переводчики (в том числе и лучший из них — и вообще лучший из прежних переводчиков Гейне — М. Михайлов) приближали великого немца к русскому варианту поэта гнева и скорби. Переводчики противоположного лагеря делали вообще невообразимое.

Можно ли узнать язвительную и резкую «Германию» Гейне в таких строчках:

Но я новую песнь, да лучше, чем та,
О, друзья, вам пропеть собираюсь.—
И блаженство возможное здесь, на земле,
Я устрою себе постараясь.
Мне хотелось бы счастливым быть
на земле.

Ни заботы не зная, ни скуки...
И за что будет есть тунеядец-живот,
Что прилежные сделали руки?

Я уже не говорю о качестве перевода — но каков его смысл!

У Гейне: «Мы хотим здесь, уже на земле, создать рай!» (подстрочный перевод). У переводчика: «Блаженство возможное... постараясь». У Гейне — уверенное: «Мы хотим». У переводчика — «мне хотелось бы» — робкое, как «Христа ради». У Гейне: «Ленивое брюхо не должно проматывать...». У переводчика — безмятежно либеральный вопрос: «И за что будет есть тунеядец-живот?...» Характерно и переводческое представление о счастье: «Ни заботы не зная, ни скуки». Разумеется, у Гейне нет ничего похожего.

Конечно, есть здесь и совершенно определенная политическая тенденция — тем более, что переводчик — Всеволод Костомаров, небезызвестный провокатор. И все-таки наивно было бы полагать, что и на этот раз Костомаров выполнял специальное задание Третьего отделения. Просто это крайнее выражение того, как узкая, пошлая, мещанская личность переводчика не смогла передать хотя бы одну искру обаяния великой личности.

Ведь разве чем-нибудь лучше перевод из Гейне, сделанный более благопристойным современником Костомарова — Ф. Бергом:

Голубые весенние глазки
Из травы изумрудной глядят;

То фиалки, цветочки-малютки,
На заре под росой блестят.



Мало того, что переводчик ~~переводит~~ («глаза весны» совсем не то, что «глазки»). Совершенно невозможно узнать Гейне в этой паточной идиллии, в сюсюкающем четверостишии, набитом уменьшительными суффиксами (у Гейне их нет ни одного; если не считать слова «einsien» — фиалки, которое иначе и не употребляется, — как и по-русски нельзя сказать «фиала»).

Это примеры крайностей, но это крайности реально существовавшей тенденции. Дореволюционный Гейне (за небольшими исключениями, не менявшими положения) был превращен в пресного, благонамеренного поэта. (Да и сейчас еще в иных переводах сохраняется такое ощущение — видимо, слишком уж необычен и сложен Гейне для некоторых наших литературных норм.) Его стилистическая смелость, его язвительность, сочетающаяся с нежностью, резкость — с сентиментальностью, все это было доведено до гладного среднего уровня.

В 1919 году Александр Блок подвёл итоги: «Не будет никакого преувеличения, если я скажу, что, несмотря на то, что все лучшие русские журналы, начиная с сороковых годов, помещали на своих страницах переводы из Гейне, принадлежащие перу часто первоклассных поэтов, — русский язык еще почти вовсе не знает Гейне».

Что изменилось с тех пор? Много. Мы получили гораздо более точное воспроизведение стихов Гейне. Еще несколько замечательных писателей перевели некоторые (к сожалению, немногочисленные) его стихи: сам Блок, Тьешин, Маршак. Каждый из них видел в Гейне то, что ему в особенности близко.

Есть и более или менее полный Гейне у В. Левика. Это хорошие, добротные, точные переводы (вот где сказались общее повышение переводческой культуры). Чуда же пока не произошло. Пока еще не появился у нас великий, сложный, многогранный Гейне.

Это потому, что не появился (или не проявился) пока переводчик, обладающий вполне оригинальной «эквивалентной» натурой, способной вместить в себя всю сложность и всю прелесть Гейне. Не было еще чудесного совпадения, при котором творчество иноязычного автора окажется благоприятнейшим поводом, благодаря которому поэт-переводчик выскажет и свое отношение к миру.

Пока не произойдет такой встречи, которая состоялась у Маршака и Бернса, Пастернака и Гете, до той поры русского Гейне у нас не будет. До той поры мы должны жить в ожидании чуда.

А настоящий перевод всегда чудо. И тогда, когда речь идет о Гейне, и тогда, когда о несоизмеримом, но тоже истинном явлении искусства.

II

Я не случайно начал эту статью с Гомера и Гейне. Такие классические примеры всегда особенно убедительны — ими ведь и создаются и проверяются все литературные законы. Теперь же речь пойдет о молодых поэтах России и Грузии, о том, как отражаются эти законы в их творческом содружестве, во встречах талантов — проще говоря, в переводах.

...Отар Чиладзе — поэт редкого своеобразия и обаяния. Может быть, именно поэтому его пока мало переводили на русский язык — почти вовсе не переводили. Корить переводчиков здесь трудно — неприятно оставаться далеко позади оригинала. Чтобы перевести такого сильного (и такого истинно грузинского) поэта, как Отар Чиладзе, надо многое мочь и уверенно ощущать в себе эту способность. К счастью, сейчас это положение исправляется — Отара Чиладзе нащупали именно такие переводчики.

Пожалуй, первая переводческая удача, пришедшая в результате встреч русских поэтов со стихами Отара Чиладзе, принадлежит Станиславу Куняеву.

Куняев перевел поэму «Итальянская тетрадь». Перевел хорошо, не только профессионально (это нынче не редкость), а вдумчиво и проникновенно.

Вот как зазвучали по-русски строки Чиладзе об изначальном конфликте поэта и тупой сытости, не умеющей понимать чужие заботы и мысли, кроме своих, не ценящих ни чужой, ни своей свободы:

Я жил когда-то много лет назад
у дикарей. Их нравы были грубы.
Я не возделал пашню или сад —
Пришлось ворочать вражеские трупы.

Над чуждой верой голову ломать
я их учил.
Им было все не нужно.
Они и не хотели понимать,
что можно жить легко и безоружно.

Не верили, что можно обойтись
без разрушенья вражеского крова,
иметь свои — дома, и хлеб, и мысль,
святые, словно доски гроба...

Пожалуй, и здесь есть некоторые потери (если судить по подстрочнику) — например, стало менее сложным чувство поэта по отношению к «дикарям». У Отара Чиладзе здесь звучит и гнев, и боль, и сострадание к людям, не на-

учившимся понимать. У Куняева — больше гнева и меньше сострадания: «они и не хотели понимать» вместо «не верили». Но в общем этот кусок, что называется, зазвучал по-русски.

И он не одинокий. В переводе Куняева строки и целых кусков, переведенных просто отлично. Таковы строки о древней Сиене, лишившейся славного прошлого и беззащитно отдавшей ее настоящему:

Воркуя, бродят голуби вокруг,
туристы пересчитывают мелочь.
А ты молчишь. И перед всеми вдруг
вдруг обнажаешь естество и немощь...

Таков и великолепный монолог об открытии, которое «происходит по закону чуда». И многое еще.

И все-таки, говоря о переводе Куняева, увлеченно хваля те или иные его удачи, нельзя не остановиться и не указать на один его недостаток. И недостаток серьезный.

Стихи Отара Чиладзе по первому взгляду могут произвести впечатление некоторой хаотичности, даже несобранности. Но это только по первому взгляду. На самом деле у них, не скрепленных внешней логичностью, всегда есть внутренняя логика, внутренняя цельность. Лирический подтекст крепко держит стихотворение, не давая ему распадаться.

То же и в «Итальянской тетради». Это случайные путевые наблюдения, ассоциации, воспоминания, размышления — казалось бы, типичная записная книжка туриста. Но в том-то и дело, что предмет поэмы, ее содержание — вовсе не сами по себе зарисовки и пейзажи, а сам поэт, его душа, его мысли. Наблюдения действительно случайны — да как же и иначе, ведь их предлагает поэту дорога, но не случайны и не мелкие его размышления. Они — это то, что им давно пролумано, прочувствовано и выстрадано. Просто сейчас, благодаря какой-либо ассоциации он находит вдруг нужное слово, самое точное и верное. И вся поэма — о главном.

Кстати, не зря в самом ее начале Отар Чиладзе дает нам это понятие: «и вдруг, как нужное слово, древняя крепость вспыхивает на горе...». К сожалению, как раз эти строки Куняев перевел неудачно:

Но вдруг, как слово, что нельзя забыть,
развалины на взгорье обнажатся...

Но недостаток его перевода не в этих мелочах — пусть и досадных. Главное — это то, что Куняев не смог (во всяком случае не везде смог) уловить и передать внутреннюю логику поэмы. Наверное, он и сам это почувствовал — недаром же он разбил поэму на

куски, сделав из нее как бы цикл стихов.

Упрекать Куняева незачем, да и несправедливо — это как-никак первая попытка перевести большую вещь Огара Чиладзе и первая удача. Но эта удача стала более относительной, чем могла бы быть.

Почему? Мне кажется, потому, что кое-где переводчик боялся отойти от букв и подстрочника, боялся потерять внешнюю похожесть.

Теоретик перевода А. Федоров писал:

«Передать лирическую фабулу или выразить на своем языке образ, созданный чужеземным поэтом, выразить мысль, уже высказанную в стихах, — это иногда то же, что заново создать эту мысль или этот образ, потому что мысль или образ в стихе уже совсем не то, что мысль и образ в обычной речи».

Это сказано хорошо и точно, кроме, может быть, слова «иногда». Как раз исключением надо признать тот поэтический перевод (удачный, разумеется), где переводчику не пришлось «заново создавать» мысль или образ, где ему не надо было пересоздавать, не надо было творить.

«Часто необдуманная верность оказывается предательством», — заметил тоже по поводу перевода В. Я. Брюсов.

В самом деле, велика опасность вырвать стихотворение из стихии родного ему языка, то есть обескровить его — и таким и оставить, не влив в его жилы новой крови, не наполнив его соками русской речи. (А ведь мы к тому же ведем разговор о переводах, сделанных с подстрочника — то есть как раз с такого обескровленного варианта стихов. Тем более нельзя оставаться на его уровне.)

Мне думается, что чем легче кажется подстрочник, чем ближе он внешне к уже готовому стихотворению (словно остается только чуть-чуть подправить размер да попольковать рифму), тем осторожнее к нему надо относиться. Иначе получится нечто противоположное тому, к чему переводчик стремится.

Хочу привести именно такой пример. Для наглядности беру перевод с языка, очень близкого русскому — с украинского.

У Шевченко есть удивительное стихотворение — одно из лучших в его лирике:

Хоча лежачого й не б'ють,
То ї полежать не дають
Ледачому. Тебе ж, о Суко!
І ми самі, і наші внуки,
І миром люди прокленуть!
Не прокленуть, а тільки плюнуть
На тих одлоєних щенят,
Що ты щенила. Муко! Муко!
О скорбь моя, моя печаль!

Чи ти минеш коли? Чи псами

Царі з міністрами-рабами

Тебе, о люту, зацькують!

Не зацькують, А люди тихо

Без всякого лихого лиха

Царя до ката поведуть.



Здесь и впрямь велик соблазн пойти по легкому пути — настолько понятно это стихотворение даже тем, кто никогда не пробовал читать по-украински. Переводчик (а им, кстати, был на этот раз известный и хороший поэт) перед соблазном не устоял. Результат получился поразительный. Все в стихах как будто бы осталось на месте, а сами они скончались. Разве можно узнать гневное и горькое стихотворение Шевченко в таком варианте:

Хотя лежачего не б'ють,
Лежать, однако, не дають
Негодному... Тебя ж, о сука!
І сами ми, і наші внуки,
І люди миром проклянуть!
Не проклянуть, а тільки плюнуть
На тех раскормлєних щенят,
Что ты щенила. Мука! Мука!

И так далее.

Я уж не говорю о том, что стихи утратили законченность формы, чеканность отдельных ее элементов — в слове «внуки», например, появилось русское мягкое «к» и рифма стала прилизательной; пропала резкость выражений, такая нужная именно в этом стихотворении — на смену им пришли куда более нейтральные слова: «негодному», «раскормленных». А ведь куда крепче звучало (именно звучало) хотя бы такое слово, как «одлоєных»! Ряд выражений вообще был переведен с украинского на полурусский — вернее, вовсе не переведен, хотя тут и очевидно требовался именно русский эквивалент. Разве ту же роль в переводе, что и в оригинале, выполнят такие слова: «И люди миром проклянут» или «Без всякого лихого лиха»?

Самое же главное — стихотворение потеряло национальную и естественную интонацию. Потеряло музыку. Потеряло свое внутреннее звучание, которое отличает всякое настоящее стихотворение и порою убеждает нас в чем-то не меньше, чем слова. Стихи взяты из украинского языка и не отданы русскому.

Можно посочувствовать переводчику: практики говорят, что с близкого языка переводить вдвойне трудно, сходное с русским звучание гипотетизирует, сковывает, подсказывает решения, лежащие слишком близко. (Нечто подобное делает с переводчиком и подстрочник.) Но ничего не поделаешь: от скованности этой избавляться надо.

Как говорится, парадоксально, но факт. В переводе так часто и бывает: скрупулезность, щепетильная (а на де-

ле — рабская) близость к оригиналу как раз часто уводит перевод от оригинала. А настоящая творческая свобода, когда переводчик овладел замыслом автора, когда он понял душу произведения, но не стеснен его буквой, — такая свобода и приводит чаще всего к победе.

В таком случае переводчик действительно становится соавтором, он творит вместе с Гейне, с Шекспиром, с Диккенсом. Он продолжает их творческий акт и жизнь их произведений.

Корней Чуковский сурово порицал старого переводчика Диккенса Иринуха Введенского за грубую отсебятину и в то же время некоторыми из этих отсебятин не мог не восхититься:

«Деревяшка ударил...», «Деревяшка
сказал...»

И это по-диккенсовски, так входит в плоть и в кровь всего романа, что с разочарованием читаешь у Диккенса:

«Человек на деревянной ноге ударил...»,
«Человек на деревянной ноге сказал...»

Еще пример. Просто удивительно, что знаменитые строки из 99-го шекспировского сонета:

А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток —

вовсе не принадлежат Шекспиру. В оригинале сказано совсем иначе:

В некоторых запахах есть больше
наслаждения,
чем в дыхании моей возлюбленной.

Да, эти строки перевода, звучащие так по-шекспировски, одновременно чувственные и целомудренные, что трудно поверить, будто бы это выдумка Маршака. Да, впрочем, это и не назовешь выдумкой — это продолжение шекспировского творческого порыва. Говорят: нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. Это так, но вот настоящий переводчик, оказывается, может совершить такое чудо — он поворачивает реку — то есть время — вспять, он воскрешает то творческое состояние, в котором давным-давно находился переводимый им поэт, и приходит в это состояние сам.

Очень часто такую свободу переводчику дает его родной язык. Например, тот же Маршак, переводя стихотворение Бернса «У которых есть что есть, те подчас не могут есть», обыграл в переводе разницу значений русского слова «есть» (в английском языке такой игры быть не могло) — и как же по-бернсовски это получилось!

И Тынянов, переводя сатиру Гейне «Ослы-изобретатели», где высмеива-

ются тупые прусские националисты, гордящиеся своими покорными предками, так написал одно четверостишие:

Они не играли в galanterie
Фривольными мелочами
И быстро-бодро-свежо, — раз-два-три,
На мельницу шли с мешками.

У Гейне в первой строке — немецкое слово «galanterie»; Тынянов же дает в иноязычном, «офранцузенном» написании. Тем самым подчеркивается, о какой «galanterie» идет речь — конечно, о французском вольномыслии (ведь и слово-то по происхождению французское).

Вольность? Да. Но как проясняет и усиливает она гейневский замысел. И она-то и есть проявление настоящей близости поэтов — переводимого и переводчика.

Эта близость — не формальное сходство. Формула Маяковского о поэтах хороших и разных потому и точна, что неразрывна. Поэты хороши, если они разные. Речь идет о близости внутренней — о близости в отношении к миру, в нравственной позиции, в темпераменте.

Если перейти вновь к молодым поэтам Грузии и России, то можно сказать, что встречи, отмеченные именно такой, внутренней близостью, уже состоялись. В общем такой встречей был перевод поэмы Отара Чиладзе, сделанный Куняевым. Серьезный недостаток этого перевода не смог свести на нет многие не менее серьезные его достоинства. Удачно встретились Джансуг Чарквиани и Юнна Мориц. Переводчице оказалась близкой манера Чарквиани, его первый лиризм, острая впечатлительность, его трепетность, естественно сочетающаяся с мужественностью. Совсем по-русски зазвучало замечательное стихотворение «Фреска Санта Мария» (из итальянских стихов Джансуга Чарквиани). По-русски, но в нем остался и автор, и его родина:

Не будите! Крыло ее — тоньше слуха.
Не будите! Душа ее — чище хлеба.
Улетает по следу злобного духа
И приносит луч с темного неба.

Не будите! Глаза у нее — самые синие.
Не будите! Тело у нее — самое белое.
Этой голой ноги туманная линия
Так похожа на горло оленя беглого...

* * *

Так же удачно, так же не случайно встретились поэты Шота Нишнианидзе и Булат Окуджава.

У них немало общего. В том числе и душевный опыт. Я не знаю личной судьбы Нишнианидзе, не знаю, при-

шлось ли ему так же, как Окуджава, попасть на фронт семнадцатилетним мальчиком, «школяром». Судя по стихам, он не подошел тогда годами и войной — только детское воспоминание. Но так или иначе война стала для них обоим если не основной, то определяющей темой. Определила она и характер человечности этих поэтов.

У Булата Окуджавы, выступившего в данном случае в роли переводчика, есть собственные — и очень интересные стихи о войне. Их герой — как раз тот самый семнадцатилетний мальчик, мужающий, становящийся настоящим солдатом. Это перевоплощение удалось поэту — тем более, что это перевоплощение в самого себя, только юного. Но художник не может отрешиться и от нынешнего состояния своей личности — каким бы юным ни играл Гамлета сорокалетний трагик, он неизбежно вложит в роль свое, возрастное видение мира, весь опыт своего ума и сердца.

В лучшие стихи Окуджава о войне вошел не только возраст поэта, но и возраст времени. Нашего времени, когда восстанавливается подлинное уважение к личности, когда в полную силу звучит утверждение воинствующей человечности.

Видно, что поэт Окуджава намного умнее и зреее своего героя — то есть самого себя двадцатилетней давности. Его стихи внимательно, даже дотошно прослеживают созревание того мальчика, пробуждение в нем храбрости, настоящего патриотизма, ненависти. Но мало того. Они никогда не становятся самоцельными, никогда не ограничиваются только лишь изображением характера.

Да, герой стихов храбр и жесток в бою. Но злоба не застилает глаза поэта. И жестокость дается герою нелегко — ведь не так-то просто привыкнуть убивать людей, даже когда ненавидишь их. И потом ему ведь известно от его хороших, умных учителей: надо быть добрым. Но:

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть,
Скоро ли — не скоро, на том ли берегу

Я впервые выстрелил на бегу.
Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рыт...
Вот я гостинцы раздаю-раздаю...
Попомните трудную щедрость мою.

«Трудная щедрость» — это уже точно, как формула. В ней — суть стихотворения, посвященного благородной войне, полным ненависти к захватчикам, но и проникнутого ощущением того, как не нужны людям войны, как много зла приносят они человечеству.

Все это и позволило Булату Окуджава прекрасно, проникновенно и естественно перевести ряд стихов Нишнианидзе, — в частности, «Возвращение солдата». Этот перевод, как и в оригинале, проникан нежностью к погибшему защитнику Родины и в то же время звучит как современный анти-военный призыв:

...Снова время я листаю. Даты, даты...
Жизнь рисует невозможное сама:
возвращаются погибшие солдаты,
чтоб увидеть позабытые дома.

Во дворе стоит, смеется путник поздний,
очень рад он возвращающюся своему.
Все понятным станет после, после, после,
а пока я лезу на руки к нему.

Прикасаюсь я к щеке его небритой,
удивленья не скрываю своего:
как же это воротился он, убитый?
Хорошо, что взрослых нету никого.

Так и идут дальше эти суровые и грустные стихи. Конечно, все это — выдумка. Убитые не возвращаются. Поэт признается: «Навыдумывал я сам, нафантазерил, жизнь сурова: не упустит своего». Но все же этот убитый солдат — не мрачный призрак — он представляется поэту очень земным, полным жизни, полным ребячески свежего ощущения бытия:

Виноградником проходит, старым садом,
синей тенью поднимается к трубе,
«Твичи, твичи...» — постоит с теленком рядом
и смеется, как ребенок, сам себе.

Тем горше сознавать, что этот человек и вправду не вернется.

Через боль, и через скорбь, и через силу,
В трубы траурные трубачи трубят:
«Кончен отпуск. Снова в братскую могилу
Возвращайся, неприкаянный солдат!»...

Он шагает по проселкам, по горячим,
мною выдуманный горький родич мой...
Мы бежим за ним, мальчишки. Плачем,
плачем.
Все вернуть его стараемся домой...

Я уже сказал, что поэты Шота Нишнианидзе и Булат Окуджава близки друг другу по характеру человечности. Теперь, пожалуй, уже ясен смысл этих слов.

* * *

Человечность — понятие само по себе не очень определенное. Она может быть и сентиментальной, и, так сказать, активной, действенной. Человечность, которую обрели лирические герои Окуджава и Нишнианидзе, не сентиментальна. Ведь она родилась в

жестокые годы — или хотя бы определена памятью тех лет. И она действительна — ведь солдат, отвоевавший свободу и счастье людей, может, больше, чем кто-либо другой, понимает цену этому счастью, цену добру, цену всему земному, простому, необходимому.

Поэтому вовсе не декларацией кажутся строки, заключающие стихотворение Нишнианидзе. Это естественная их концовка, взрыв лирического накала:

Населяют землю вечные невесты.
Надоело разлучаться и терять.
Будьте прокляты, дороги наших бедствий...
Вы не смеете вернуться к нам опять!

Видно, что было зачем встречаться этим поэтам. А в этом — обязательная причина переводческого успеха.

«...Я думаю, что перевод — это проявление огромного доверия двух поэтов, где один из них приобщает другого к своей сокровенной тайне», — писала несколько лет назад в «Литературной Грузии» Белла Ахмадулина. Это правда. Перевод — акт доверия, и оно должно оправдываться. Перевод не может получиться по-настоящему, если окажется, что встреча автора с переводчиком могла состояться, а могла и не состояться — все равно, особой необходимости не было.

Мы знаем, что многие переводы, сделанные и классиками и нашими современниками, по полному праву входят в их «Избранное», отлично уживаясь с их лучшими оригинальными стихами. Пожалуй, воспоминание об этом тоже может быть стимулом в работе переводчика. Во всяком случае — стимулом сдерживающим: не берись за перевод, если не чувствуешь в нем возможности и для самого себя сделать шаг вперед.

...Одно и то же стихотворение Тамаза Чиладзе перевели двое — Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко. Перевели очень по-разному, но не только потому, что они разные поэты. Потому, что и на сам «акт доверия» смотрели по-разному.

Перевод Ахмадулиной задумчив и нетороплив. Вот поэт в «солнечный зимний день» (так стихи и называются) выходит на порог и наблюдает «тот белый свет, где бел платок и маляра белы белила».

Где мальчик ходит у стены
и, рисовальщик неученый,
среди известковой белизны
выводит свой рисунок черный.

И сумма нежная штрихов
живет и головой качает,
смеется из-за пустяков
и девочку обозначает.

Так, в сердце мальчика проспав,
она вкушает пробужденье,
стоит, на цыпочки привстав,
вся — женственность и вся движение.

...О, Буратино, ты влюблен!
От невлюбленных нас отличен,
нескладностью своей смешон
и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоём,
догадкой осенен мгновенной,
ты слышишь в чистом небе гром
любви и верности неверной.

Дано предчувствовать плечам,
как тяжела ты, тяжесть злая,
и предстоящая печаль
печальна, как печаль былая.

Вот и все. Я процитировал это стихотворение почти полностью — потому что оно мне до чрезвычайности нравится.

Перевод Евтушенко — совсем иной. Даже по темпу. Он словно бы спешит и задыхается в этой спешке — недаром он вдвое короче перевода Ахмадулиной (и, кстати сказать, оригинала).

И начинается он совсем иначе — со строк о море, которое «не верит в человечество и хочет затопить его скорей».

Но море,
погляди, как в тишине,
в том городе,
где пыль лежит на цитрусах,
мальчишка
грубым углем на стене
рисует девочку,
стоящую на цыпочках.

Ему бы подошли
мячи и удочки...
Что в нем картину эту породило?
О чем он думает,
художник этот худенький,
похожий чуточку
на Буратино?

В ответ на все это, море, разумеется, виновато улыбается — «нет, в человечестве хорошего не убыло». И все.

Мне кажется, сравнение здесь говорит само за себя и незачем скрупулезно сравнивать отдельные строчки и фразы. Важнее понять основную причину такого различия.

Перевод Ахмадулиной углублен. Как и всякое настоящее стихотворение, он не ограничивается увиденным внешне. Простая уличная стенка стала поводом для радостных и тревожных раздумий о любви и о жизни.

Особенность настоящего поэта в том, что, говоря о себе, он говорит о других и, говоря о других, — раскрывает собственную душу. Его сердце

обязано — потому что оно сердце поэта — должно быть настроенным на волны всех своих современников, чутко отзываться на их позывные, быть всегда в готовности дать душевный отзвук. Если же поэт глушит своим упоенным голосом все остальные станции, все его добрые качества обесцениваются, становятся относительными. Он больше не выполняет своей роли.

У Ахмадулиной (и Тамаза Чиладзе) увиденный ими эпизод нашел отзвук. Им понадобилось глубже и ближе взглянуть на мальчика, задуматься над его судьбой, порадоваться с ним и погрустить за него. Евтушенко же заинтересовался мальчиком с самого начала лишь как поводом для того, чтобы высказать уже готовую, ясную ему и другим (и поэтому банальную) мысль: «в человечестве хорошего не убывало».

Не случайно так по-разному звучат в переводах Ахмадулиной и Евтушенко нечастые совпадения. Ахмадулиной, создавшей (или, точнее, пересоздавшей) образ маленького рисовальщика, лиричный и нежный, достаточно воскликнуть: «О, Буратино!» — и мы уже ощущаем уместность этого сравнения — вовсе не только внешнего. А Евтушенко об этом и не помышляет, у него все это сведено только к внешности («похожий чуточку на Буратино»). Да иначе и быть не может — ведь в его переводе все стало внешним.

Евтушенко удачно перевел некоторые стихи того же Тамаза Чиладзе и целую книгу Мухрана Мачавариани.

Ткемали белые, ткемали белые,
вы обступаете все тесней.

Тени деревьев,

зыбкие,

беглые,

тени деревьев

и тени теней.

Так я дышу,

как будто я выздоровел,

будто одно —

и вечность,

и миг.

Так я гляжу,

как будто я выстроил

этот —

из света и зелени —

мир!..

Это по-настоящему хорошо — хотя бы потому, что естественно и свободно. Разумеется, и здесь слышен голос переводчика, но он уже не заглушает, а — напротив — усиливает свежесть и прелесть оригинала. И характер самой свободы стиха здесь совсем уже иной.

В переводе Евтушенко из Тамаза Чиладзе это была освобожденность от материала, от жизни, от смысла. В переводе же его из Мачавариани — творческая свобода, когда перевод, став

вольным, остался верным духу оригинала.

Цитировавшийся перевод Ахмадулиной тоже достаточно вольный, в нем очень много пришло от переводчицы (это нельзя не заметить). Но все главное из того, что говорил по-грузински Тамаз Чиладзе, Белла Ахмадулина передала по-русски. Передала она и национальную характерность его поэзии.

Это немного странно звучит — как же можно передать по-русски грузинскую характерность? Может быть, достаточно ограничиться сохранением географических и этнографических подробностей?

Нет.

Грузинская поэзия по самому строю своему отлична от русской. Она, что ли, романтичнее — не только потому, что в ней более строго сохраняются многие поэтические атрибуты, но — главным образом — по всему своему строю, образному и стилистическому.

Белла Ахмадулина в упоминавшейся уже статье писала о том, что надо иметь в виду «не только разницу языков, но и разницу в поэтической психологии, в кругу образов различных народов».

В стихотворении Чиковани «Задуманное поведай облакам» есть строки: «Красотой своей ты наполнила кисеты моей души...» Полностью доверяя поэту, мне очень дорогому, я ни минуты не сомневалась, что по-грузински этот образ поэтичен и закономерен. Но в дословном переводе на русский язык он звучит вульгарно, и я попыталась обойтись без него, тем более, что очарование женщины и чувство поэта и так были очевидны».

Дело еще и вот в чем. В современной русской поэзии в последние годы как раз возобладала сильнейшая бытовая струя. Она ворвалась в стихи каждого почти поэта разговорной лексикой, бытовыми подробностями, будничностью интонации, не приземленностью, а **заземленностью** всего строя стиха. И вот встретились грузинский стих — высокий и даже торжественный — и стих русский, разговорный и очень живой.

Можно было бы кому-то уступить дорогу. Тогда — в одном случае — перевод звучал бы хоть и прекрасно, и торжественно — но чуждо русскому уху. В другом случае произошло бы насильственное искоренение всего национального, характерного именно для грузинского стиха. То есть то, от чего предостерегал К. Чуковский:

«Если вам предложена такая строка:

— Светловолосая дева, отчего ты дрожишь?

Blonde Maid, was zogerst du?

а вы переведете ее:

— Рыжая девка, чего ты
трясешься? —

точность вашего перевода будет парализована тем, что все четыре синонима вы заимствовали из другой группы».

Белла Ахмадулина, переводя Тамаза Чиладзе, избежала обеих опасностей. Она поняла, что главное — не «спустить» грузинское стихотворение с его высот, а оставить его естественным. Тогда оно прозвучит достойно, а не надменно, возвышенно, а не высокопарно.

Конечно, все это не так легко запрограммировать.

Впрочем, так и вообще в искусстве. Все, кто спорил о взаимоотношениях в творчестве техники и «натура», в конце концов принуждены были убедиться в простой истине: ни то, ни другое друг друга заменить не могут.

Один наш переводчик говорил, что, переводя того или иного иноязычного поэта, он ищет что-то сходное с ним в русской поэзии. Переводя Шекспира — вспоминает «громокипящую» лексику Державина, переводя Байрона, — зачитывается Лермонтовым. Все это правильно и необходимо. Но главное все-таки — не поиски «стилистических эквивалентов», а эквивалентность душ.

«Чужое вмиг почувствовать своим» можно лишь тогда, если это чужое — не чуждое, если оно близко тебе с самого начала.



ГОЛОС МОЛОДЫХ

Татьяна ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ

Наш современник — крупным планом

Пленум Центрального Комитета КПСС еще раз отметил огромное воспитательное значение кинематографии в идеологической борьбе, развернувшейся между двумя лагерями — социалистическим и капиталистическим.

Партия призывает советских кинематографистов полнее, глубже, ярче показывать нашу жизнь, создавать впечатляющие, типичные образы современников, которые могли бы служить примером для народа.

Жизнь каждого человека в наши дни, как никогда раньше, связана с судьбами человечества всего земного шара. Историческое, больше того, — всемирно-историческое вошло во все области бытия современника. В переломную эпоху мировой истории, когда созрели объективные предпосылки сохранения мира на всей планете и когда, с другой стороны, над людьми все еще продолжает висеть угроза атомной войны, человеческие проблемы все настойчивее требуют идейно и художественно определенное, четкое и ясное решения.

Советский человек — представитель самой передовой общественной формации. Поэтому в герое нашего киноискусства необходимо воссоздать художественный образ борца за светлое будущее человечества, носителя всего прогрессивного. В то же время художественный образ нельзя рассматривать вне национального своеобразия, ибо всякая культура национальна.

Исходя из этого мы рассмотрим художественный образ современника в

нашем киноискусстве в свете современных достижений реалистического искусства и в преломлении грузинской культуры.

Между тем, одной из слабых сторон грузинского киноискусства является почти полное, за некоторыми исключениями, отсутствие сочетания современности с национальными традициями. Редко на экране живет герой — наш современник, развитие характера которого идет по пути решения актуальных вопросов. Ведь ответа на современные проблемы мы в сущности и ищем в произведениях искусства. А еще реже встречается герой, наделенный конкретными чертами национального характера.

Мы рассмотрим лишь те картины, в которых имеется хотя бы тенденция решения этой проблемы, проблемы настолько сложной, что она все еще ждет полноценного идейно-художественного воплощения на грузинском экране.

Много различных мнений, споров, упреков и похвал вызвал фильм «Чужие дети» (авторы сценария Р. Джапаридзе, Т. Абуладзе, постановщик Т. Абуладзе, оператор Л. Пааташвили). Сейчас, спустя несколько лет после появления фильма, можно более объективно и справедливо разобраться в его основных недостатках, в том, какие упреки были справедливы и чем все же фильм заинтересовывает, почему заставляет спорить.

Вели постараться проникнуть в суть вопроса и, исходя из конфликта, анализировать эту картину, мы увидим, что

основные упреки вызваны необедительностью, неполноценностью художественных образов.

Главный герой Дата — рабочий, машинист; он вдовец, у него двое детей. Вот как будто и все, что известно зрителю о главном герое, определяющем конфликт фильма. Разве можно назвать это характером? Какие черты этого человека, какие детали его отношений с людьми рисуют его как советского рабочего, как представителя грузинского рабочего класса? Дело не в том, что авторы должны были вывести «добрых» соседей или «соболезнующих» товарищей. Речь идет не о внешней обрисовке образов. Лишь раскрытие многообразных связей человека и среды обогащает как содержание самой драмы, так и характеры героев. Этого проникновения во взаимоотношения людей с окружающим миром в фильме нет, и поэтому вся тяжесть смысловой нагрузки пала единственно на самих героев, чего Дата — О. Коберидзе, а в особенности «демоническая» Тео — А. Кандаурашвили не выдерживают.

Надо отметить, что виной этому, в основном, драматургическая обособленность ситуаций, схематичность литературного сценария. И актер О. Коберидзе ничего не предпринял для того, чтобы позволить нам, хотя бы мельком, заглянуть в сложную психологическую борьбу его героя в выборе между детьми с Натой и женщиной (скорее похожей на символ, олицетворяющий чувственную страсть, чем на живой человеческий характер), которую он, видимо, любит. И рядом с Тео Дата — этот добрый, сердечный, но слабохарактерный человек — превращается в безвольное существо, охваченное роковой и сильной страстью, в конце концов заставившей его бросить двух детей и обаятельную Натю. Актер не раскрывает всю силу его чувства к Тео. Поэтому остается непонятным, почему Дата уходит из семьи, жертвуя счастьем детей.

Авторы не показывают нам общественную «почву», питающую таких людей, как Дата — Ц. Цицишвили, почву, обусловившую ее самоотверженный поступок — усыновление чужих детей. Аналогичная история «чужих детей» могла иметь место в любой стране, в любое время, так как в фильме действуют общечеловеческие характеры. Но если привлекательный образ Натю (Ц. Цицишвили) и ее благородство в другом обществе расценивались бы только как гуманистические, то в нашей социалистической действительности, исходя из природы самой общественной формации, поступок Натю следует назвать социалистическим.

Какие движущие силы помогли Натю совершить этот самоотверженный по-

ступок? Как она решилась взять на себя ответственность за судьбы чужих детей? Это и есть основная тема образа Натю — тема щедрого сердца, рождения нового чувства — преданной любви к детям, гармонического согласия сердца и разума. В общем это и есть одно из качеств советского человека — действовать, отбросив всякие расчеты, не опасаясь жизненных трудностей, обретая в этом собственное счастье. Каждый советский человек обязан поступить так, его мораль, чувства и мысли не позволяют оставить двух малолетних детей без материнской заботы и ласки.

Тем радостнее видеть на экране образы, раскрывающие эти высокие качества советского человека, не идущего на компромисс, не изменяющего велению сердца. И зритель верит, что из всех героев фильма только Натю будет поистине счастлива.

В этом и есть положительная сторона фильма: Натю — заявка на художественно полнокровный образ борца за светлое будущее Человека.

Но создатели фильма показали всю драму в отрыве от широкой картины социалистической действительности, лишили образ Натю национальной определенности, и поэтому неизбежно рождается ощущение подражательства, в чем заслуженно упрекали авторов фильма. Подлинная современность и убеждающая сила положительного героя нашего экрана прежде всего зависят от того, насколько правдиво и типично выражены в нем черты нового, прогрессивного, истинно советского и в то же время истинно грузинского.

Именно этой конкретности и недостает образу Натю.

Образ-характер может быть раскрыт в какой-либо определенной сфере — личной или общественной. Но если характер действительно удался, если в фильме действует живой человек, у зрителя неизбежно должно возникнуть полное представление об этом человеке.

В социалистическом обществе ее интересы неотделимы от интересов каждого его члена, и поэтому преданность советского человека своим личным интересам, принципам и убеждениям одновременно означает преданность обществу.

Нашей трудящейся молодежи, ее светлым стремлениям посвящены фильмы «Наш двор» (автор сценария Г. Мдивани, постановщик Р. Чхеидзе, оператор Г. Челидзе), «Парень из Сабудара» (автор сценария Г. Мдивани, режиссер Ц. Манагадзе, оператор Г. Челидзе). В этих фильмах мы видим наших современников, способных на большие чувства, преданных делу, прямым и чистым. И тем не менее теперь эти фильмы, в свое время имевшие большой и

заслуженный успех, полностью не отвечают растущим требованиям современности. В них нет слияния трудовой и личной жизни героев, нет раскрытия конфликта во всей многогранности человеческих отношений.

В наши дни грандиозных открытий и небывалых свершений, когда в Москве прошел III Международный кинофестиваль под девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами», мы вправе требовать от работников грузинского кино произведений, достойных нашего современника, рассказывающих о простых советских людях, об их труде и жизни.

Мы хотим, чтобы зрительный зал любой страны, затаив дыхание, следил за большой жизнью нашего современника, приносящего на экран через свое мировоззрение характер, поведение, высокие народные идеалы.

Если рассматривать с этих позиций грузинскую кинокомедию «Куклы смеются» (автор сценария А. Такашвили, постановщик Н. Санишвили, оператор Л. Пааташвили, главный герой М. Тавадзе), создателям фильма можно предъявить ряд серьезных обвинений.

Жанр музыкальной кинокомедии пользуется особенной популярностью у зрителя. Веселый фильм дарит людям радость, отвечает исконной потребности зрителя в любимом, доступном каждому, простом и ясном герое, который не боится ни горя, ни трудностей, ни забот и шагает по жизни всегда с веселой и ободряющей песней. Зритель стремится увидеть такого героя, но, к сожалению, этой возможности у него пока нет.

Сказанное справедливо в полной мере и в отношении героя этой кинокомедии. Зрителя такой герой не волнует, следовательно, подобный образ не может прочно и органично войти в жизнь народа. Но почему это происходит? Очевидно, потому, что характер героя не заинтересовывает, не заставляет задуматься о конкретных отрицательных, еще не изжитых чертах современного молодого человека. К тому же зрителю не ясна не только жизненная цель героя, но и цель самих постановщиков фильма.

Резико окончил среднюю школу. Ни одна профессия его не привлекает. Допустим, что само это достойно осмеяния, ибо человек, получивший среднее образование, должен уже иметь свои интересы и стремления в жизни. Но выслушав Резико и его родителей, которые хотят как-нибудь «пристроить» сына, авторы в финале приводят героя на фабрику кукол и уверяют нас, что юный герой нашел свое место в жизни. А зрителя не покидает уверенность, что для Резо, в сущности, важна лишь при-

вязанность к девушке. (Кстати, любовь молодых людей в фильме показана тоже предельно стандартно.) О путях, какими герой находит свое призвание, можно спорить только о степени убедительности и жизненной достоверности этих путей.

Вот с этим мы и поспорим. В зале часто раздается смех. Смеются над теми нелепыми ситуациями, в которые попадает герой в поисках своего призвания, смеются над экзаменом в консерватории, смеются над тем, как Резико ловко обманывает бабушку, как отец — зубной врач — впопыхах вырывает здоровый зуб пациенту, «устраивая» сыну пятерку. Невольно становится обидно, что зритель смеется, ибо смех вызван не убедительностью комических ситуаций фильма, а наивностью решения поставленной проблемы — поиска молодым человеком своего места в жизни.

Разве единственная цель комедии — вызывать смех? Подобные герои скользят по касательной к живой действительности и остаются веселыми пустячками, однодневками.

Сегодня в мире искусства особенно важное место занимает проблема кинокомедии. Недавно в Центральном доме кино проходила конференция на тему: «Почему нет музыкальных кинокомедий?» И надо приветствовать, что «Грузия-фильм» как бы откликнулась на этот призыв, выпустив новую музыкальную комедию. Но тут же хочется привести слова Н. Кладо, будто специально предназначенные для этого фильма: «...комедия — это не холостая пальба, а прицельная стрельба. И сюжет, и система образов комедийного фильма должны строиться не на водевильных недоразумениях, а на столкновении взглядов героев, на различных (и ярких, самобытных!) характерах героев, на разном мироощущении и миропонимании наших современников, которые необычайно выросли за эти годы».

Если проследить историю кино, мы увидим, что в центре больших фильмов всегда стоял большой человек с большой душой, с большими мыслями о жизни. В центре новых фильмов должен находиться образ современника во всей его ясности и глубине, во всем его величии и неиссякаемом оптимизме, в котором будет заложена сила примера, направляющая мысль зрителя.

Ни масштабность замысла, ни богатство кинематографических находок, ни своеобразие изобразительного решения сами по себе не овладевают сердцем зрителя, если в фильме нет правды человеческих характеров, правды художественного образа современного человека. Часто зритель после киносеанса ли-

бо забывает картину, либо не в состоянии бывает отрешиться от чувства неудовлетворенности. Такое чувство рождается неправдой, неубедительностью художественных характеров героев.

Обнаружить и открыть зрителю в характере героя характер времени — это и есть подлинное искусство, в этом и есть долг каждого режиссера, каждого актера. Тогда зритель будет не просто взволнован, а духовно обогащен и удовлетворен.

«Каждый человек — это целая история», — сказал Н. С. Хрущев в своем заключительном слове на XXII съезде КПСС. Мы знаем обобщенные собирательные образы «человека человечества», созданные художниками разных эпох, разных мировоззрений. Обобщенные герои Бетховена и Горького, Байрона и Уитмена выросли из мощных пластов исторической жизни, из сложных социальных идеалов. И сегодня наше киноискусство продолжает эту работу художественного человековедения. Некоторые актеры создают образы, достигающие большой силы обобщения.

Образ бабушки из фильма «Я, бабушка, Илико и Илларион» (авторы сценария Н. Думбадзе и Т. Абуладзе, режиссер Т. Абуладзе, оператор Т. Калатозишвили), созданный С. Такайшвили, по праву можно назвать обобщенным образом «человеческого человека» — настолько он правдив, всеобъемлющ и конкретен. Образ бабушки дает богатейший материал для размышления над жизнью, над условиями и обстоятельствами, сформировавшими этот характер, и анализ его становится глубоким анализом времени.

...Жизнь идет и приносит с собой большие радости — завершение учебы внука, единственного утешения и надежды; приносит победу над врагом... Жизнь идет и приносит большое горе — войну, смерть близких, слепоту Иллариона, болезни, старость...

И течение жизни, самый образ времени, преломляясь сквозь призму человеческого сердца бабушки — С. Такайшвили, отражается на экране, передаваясь зрителю.

Несмотря на то, что в фильме обра-

зу бабушки уделено меньше времени и крупного плана, чем того заслуживают и эта роль, и игра актрисы, ^и ^{мы} ^{чув-} ^{ствуем} величие наших рядовых ^{людей}, героизм которых проявлялся не только в подвигах на передовой, но даже и в вязании теплых вещей для родных бойцов, в посылке единственных сапог и бурки для фронта, в воспитании нового человека в сложных условиях войны...

Жизнь идет, остановить ее нельзя, и бабушка, казавшаяся бессмертной в своем неиссякаемом оптимизме, так и искрящаяся народным юмором, умирает. Но сцену смерти актриса превращает в символ бессмертия человечества. Всю свою энергию, внутреннюю человеческую красоту бабушка отдала людям.

Величественна, светла бабушка — С. Такайшвили. Она завершила свою миссию на земле — воспитала еще одного человека — в этом ее долг перед обществом, в этом ее личное счастье. У нее есть еще более ценное, чем ее собственная жизнь — диплом внука — путевка в светлое будущее без горя, войны и смерти...

Искусство начинается там, где характер приобретает необходимую объемность, где есть органическое слияние черт, обобщающих определенные явления жизни и черт индивидуальных, присущих только данному человеку.

И именно поэтому образ бабушки в исполнении С. Такайшвили — истинное искусство. Но, к сожалению, нужно признать, что подобное явление еще не стало специфической особенностью нашего кинематографа.

Мы, конечно, не смогли остановиться на многих созданных за последнее время грузинских фильмах, на всех заслуживающих внимания образах; эта задача требует тщательного и внимательного исследования.

Отдельные же творческие удачи грузинского экрана в создании художественного образа современника дают основание надеяться на значительные победы в будущем. Залогом дальнейших успехов являються национальные традиции грузинского народа и наша великая действительность.

С. НАЦИАШВИЛИ

Энциклопедия грузинского искусства

Шалва Ясонович Амиранашвили, крупный советский ученый, один из основоположников грузинского искусствоведения, известен как неутомимый исследователь памятников грузинского изобразительного искусства. Ему принадлежит около 70 научных трудов и монографий, касающихся, главным образом, грузинского и иранского искусств.

Итогом многолетней работы Ш. Амиранашвили явился его новый труд «История грузинского искусства», выпущенный издательством «Хеловнеба». Автор на первых страницах рассказывает о том, что издавна территория Грузии была ареной ожесточенных битв. Расположенная на стыке двух континентов, Европы и Азии, она подверглась постоянным нашествиям с востока и с запада.

Но несмотря на это, грузинский народ сумел сохранить свое искусство и внести вклад в сокровищницу мировой культуры.

В труде на основании богатого документального материала рассказывается о путях развития грузинской культуры, о значительных памятниках искусства, созданных в течение многих веков.

Монография широко освещает тематику творений великих мастеров, рассказывает о необычайно сложном и интересном пути развития искусства нашего народа, о выработанных многими

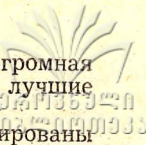
поколениями его национальном своеобразии и традициях.

В труде дается описание множества уникальных и оригинальных образцов грузинского искусства.

К достоинствам книги следует отнести ее стройную структуру. Автор подробно знакомит читателя с древней культурой Грузии и Закавказья по данным археологических раскопок. Это — настенная живопись (мозаика и фрески), миниатюра, чеканное искусство, эмали, рукоделие, декоративная скульптура, орнаменты на дереве и камне.

Затем он подробно останавливается на памятниках материальной культуры, начиная с IV и кончая XIX веком, при этом анализирует их с инженерно-технической и художественно-эстетической точек зрения. Ш. Амиранашвили доказывает, что грузинские зодчие во все времена служили народу и, создавая произведения искусства, исходили из его духовных и материальных интересов.

Отдельные главы посвящены грузинскому искусству периода рабовладения, зарождения христианства и его развития. На основании богатейших данных написаны главы, касающиеся грузинского искусства в период с VII по XIII век. Прекрасно охарактеризован период монгольского владычества; эта часть книги выигрывает за счет материалов, полу-



ченных в итоге изучения Крестового монастыря в Иерусалиме.

Автор этого капитального труда констатирует, что каждый архитектурный памятник грузинской материальной культуры является поэмой в камне. И каждый камень хранит историю народа. Ш. Амиранашвили справедливо утверждает, что великие мастера грузинского народа как в области зодчества, так и в области настенной живописи, декоративной скульптуры и мозаики, создали свой, совершенно своеобразный стиль.

Немалый интерес представляет и анализ трудов историков, путешественников, искусствоведов, посвященных описанию нашей страны, ее культуры, искусства. Речь идет о работах Ксенофонта, Страбона, Дибуа, М. Броссе, Г. Гагарина, П. Уварова, Н. Марра, И. Стригорского и др.

Автор говорит, что многовековая история грузинского искусства служит ярким примером и подтверждением высокой культуры, духовного богатства и тонкого эстетического вкуса грузинского народа.

История и искусство Грузии свидетельствуют о том, что уровень грузинской культуры и ее творческий потенциал стояли наравне с уровнем тех государств, которые задавали тон в мировой культуре.

Ш. Амиранашвили делает заключение, что сочетание законченной, совершенной красоты формы и жизненной правды, гармония деталей и целого,

ясность и глубина мысли, огромная страстность чувства отличают лучшие образцы грузинского искусства.

В монографии проанализированы также произведения выдающихся мастеров искусства нашего времени — А. Мревлишвили, Т. Габашвили, М. Тодидзе, Г. Гогиашвили, А. Цимакурдзе, Н. Пиросманишвили, Н. Николадзе.

Естественно, что в таком огромном труде порою встречаются спорные вопросы проблемного характера как в отношении анализа, заключений, так и в отношении периодизации, хронологии древней архитектуры; но это не снижает ценности научного исследования.

Отрадно, что издательство «Искусство» в Москве выпускает русский вариант «Истории грузинского искусства». Это не перевод, а заново написанная на русском языке монография. К ней приложено 268 таблиц по живописи, скульптуре, архитектуре и мозаике. Кроме того, в книге более 200 чертежей, которые выполнены на высоком художественном уровне и с научной точностью.

Монография Ш. Амиранашвили «История грузинского искусства» является результатом глубокого осмысления огромного фактического материала. Эрудиция автора и его острый аналитический ум искусствоведа придают особый интерес и значение этому капитальному труду, который с полным правом можно назвать энциклопедией грузинского искусства.



Ия МЕСХИ

Это было на Кавказе

1. С чего началось

Все началось с того, что один карачаевский чабан, решив, видимо, вкусить запретный плод — поохотиться на горного тура — забрался к самому перевалу Главного Кавказского хребта, на Марухский ледник, и увидел картину, потрясшую его воображение. Забыв об охоте, он опрометью бросился вниз, в свой аул, и сообщил милиции, что на леднике лежат трупы, кости и скелеты людей, все это появляется из-под льда, который в этих местах давным-давно не сходил и вот теперь, вдруг, начал бурно таять.

Немедленно из Черкесска, центра Карачаево-Черкесской области, выехала специальная государственная комиссия, которая поднялась к указанному месту с группой альпинистов и саперов.

Действительно, чабану это не приснилось.

Комиссия тщательно обследовала район Марухского перевала. Все говорило о том, что на свет появились следы событий 1942—43 годов, следы одного из эпизодов героической обороны Кавказа в Великой Отечественной войне.

Здесь стояли насмерть. Об этом свидетельствовали такие, например, детали, как сложенная из камней огневая точка и рядом — останки воина-пулеметчика с рукояткой от гранаты. Этой последней гранатой он подорвал себя. В другом месте над отвесной пропастью, у выступа, нашли скелет человека. Судя по огромному количеству отстрелянных гильз с этой позиции было отправлено к праотцам немало фашистов. Из одной ледовой щели торчала рука. Вырубили весь лед, на 20 лет останковивший время. В левой руке солдат зажал винтовку. Один патрон в патроннике, один — в магазине. В вещмешке хорошо сохранились принадлежности для бритья. Лед сковал два оброненные неподалеку котелка с патронами. Солдат бежал на помощь и упал с пулей во лбу.

Почему он не похоронен? Почему остались лежать на земле другие? Может быть, были уничтожены все до единого, а когда пришли сюда, все уже покоилось под глубоким снежным покровом? Какая же часть воевала на этом перевале? Тысячи вопросов вставали на каждом шагу. Все взывало к па-

мляги тех лет, к воскрешению событий, к поиску.

Останки защитников Родины спустились с перевала и похоронили с почестями.

Это было в первых числах октября, в прошлом году. Карачаево-Черкесская газета «Ленинское знамя» дала об этом первое сообщение: «Бессмертный подвиг безымянных героев. Многотысячный траурный митинг в станице Зеленчукской».

— ...И пусть сегодня мы еще не знаем их имен, — писала газета.

Не знаем их имен... А надо бы узнать, непременно узнать.

Вот несколько документов, найденных на леднике: партийные и комсомольские билеты, письма. Все пришло в полную негодность, но с помощью экспертизы удалось кое-что прочесть. Прежде всего обнаружилось название части — 810-ый полк 394-ой стрелковой дивизии. Затем в одном комсомольском билете, бережно завернутом в целлофан, проявились отдельные цифры и буквы: Петр Коп... Прочли почтовую открытку в адрес Казарикян А. В., письмо из Махач-Калы на имя Семена Розенберга, письмо от Артема Иванченко в Баку, почитать Татьяне Петровне Иванченко.

Это был уже тот самый кончик, ухватившись за который можно было начать распутывать нить. И вот в «Красной Звезде» и в других газетах появилась первая весточка от старшего сержанта запаса А. Иванченко: «Я воевал на Марухском перевале». Да, да! От того самого Артема Иванченко, чье неотправленное письмо пролежало на перевале столько лет! Он жив-здоров, работает слесарем на бакинском нефтепромысле. Кое-что он рассказал, назвал фамилии товарищей по отделению, которым командовал: Картозия, братья Буадзе, Тучков... Он сообщил, что Семен Розенберг был наводчиком минометного расчета. Со сдержанной нежностью вспоминал Артем об этом одесском паренке, о его веселом нраве, слегка пританцовывающей походке. 5 сентября подразделению был дан приказ отойти на отдых. Люди с трудом передвигали ноги, совсем ослабели от непрерывных боев, холода и голода. Еле разобрали 82-миллиметровый миномет. Семен взвалил на себя лафет и только двинулся в путь, как поскользнулся и упал в глубокую ледовую трещину. Попытки достать его отсюда были безуспешны.

Пришло письмо от матери Розенберга. Она писала, что Семен ушел на фронт добровольно, когда ему не было еще 17 лет, что она в глубине души надеялась, что может быть он еще жив, а теперь вот услышала горькую правду...

«Сельская жизнь» опубликовала кор-

респонденцию из Приднестровья. Городок Голая Пристань. Здесь, оказывается, живут три участника марухских боев — Александр Пронин, Иван Иванович Воинченко и Дмитрий Лебедев. Они тоже рассказали журналисту о защите перевала и кстати попросили узнать — не известна ли судьба комвзвода Михаила Мелкумова, очень храброго человека, который до войны, кажется, жил в Баку и служил в оркестре. Кроме того, они хотели бы услышать об одном сване-проводнике, председателе колхоза в селении Чхалта, к которому у них также осталось чувство большой благодарности.

Еще один вопрос — о судьбе эстонской девушки Эльзы Андрусовой прозвучал в корреспонденции о горных проводниках 394-ой стрелковой дивизии. Эти проводники были посланы в часть из партизанского отряда «Мститель», сформированного в г. Карачаевске. И среди них была отважная девушка Эльза. Как она попала туда? Где она сейчас?

Много, очень много вопросов «повисало в воздухе», да и сейчас еще продолжает «висеть». Центральные газеты, выступив по нескольку раз с темой Марухского перевала, закончили ее. А Карачаево-Черкесская газета имела маленькую трибуну. С каких только мест не привела война людей на Марухский перевал! Но журналисты из «Ленинского знамени» проявляли упорство: найти, непременно найти побольше имен. Герои не должны остаться неизвестными!

2. Братья-журналисты берутся сообща

Как-то редакция обратилась с вопросом в Архив Мининтерста Обороны СССР. И там тоже оказался человек, который не ограничился одним ответом. Владимир Иванович Моисеенко просмотрел сотни дел, изучил трофейные фашистские документы, карты и прислал в газету Карачаево-Черкесской интереснейшие материалы. Кстати, он установил, что полустертый комсомольский билет принадлежал погибшему в боях Петру Кирилловичу Коптеву.

Стали известны имена героев Маруха супругов Дутловых, Ивана и Анны. Лейтенант Дутлов был командиром взвода, Аня — санинструктором. Они сражались плечом к плечу. Вместе, тут же, на перевале, подали заявление в партию. Ивана убило на глазах у Ани. Судьба Анны Васильевны Дутловой не известна по сей день.

Большой, можно сказать, исчерпывающий очерк В. Моисеенко «О чем говорят боевые документы» изобилует именами воинов-грузин. Особенно выделялось имя командира батальона Василия Рухадзе, проявлявшего большое мужество и отвагу в боях. Батальон

Рухадзе был придан полку из другого, 808-го полка, вместе они составили единый сводный отряд защитников Марухского перевала. О комбате Рухадзе рассказывал журналистам и рабочий совхоза «Черкесский» Яхья Нахушев. Он был командиром взвода связи в батальоне Рухадзе и на своих руках вынес тяжело раненного комбата с поля боя. О дальнейшей его судьбе он не знал ничего.

И тут редактору «Ленинского знамени» Андрею Лаврентьевичу Попутько пришла в голову хорошая мысль — опубликовать очерк Моисеенко не только у себя, но и послать его коллегам по ту сторону перевала, в Грузию, республиканской газете «Заря Востока». Через некоторое время из Тбилиси в Черкесск полетела весть: Василий Ражденович Рухадзе объявился! Замечательный оказался человек. Еще в 1924 году за успешную борьбу с меньшевиками награжден грамотой «Стойкому защитнику пролетарской революции — от Реввоенсовета СССР».

И в «Заре Востока» появилась рубрика «Тайна Марухского перевала», откликнулись оставшиеся в живых участники боев, открывались новые имена. А когда в газете «Молодежь Грузии» был описан подвиг политрука Тариела Мачавариани (25 бойцов-грузин под его командованием героически прикрывали отход батальона и все до одного погибли), в редакции пришла его дочь, студентка. Нет, эта весть не вернула ей отца, но она узнала о том, где и как он погиб, смогла встретиться с его боевыми товарищами...

Бакинские журналисты тоже не сидели сложа руки. После очерка об Артеме Иванченко в редакции позвонил из Азербайджанского пединститута Мухтар Мустафаев. Он сказал, что сам воевал на другом перевале, но знает, что его курсанты, которым он преподавал в пехотном училище, защищали Марух. — Кто эти курсанты? Назовите фамилии, — попросили в редакции.

— К сожалению, ни одной фамилии не помню, но знаю, что много было бакинских ребят с Биби-Эйбата, Сабунчей, с поселка текстильного комбината...

В руках уже было что-то. Начался долгий, упорный журналистский поиск. В редакции встретились участники марухской эпопеи — Валентин Худавердиев, Виктор Тарусов, Владимир Туровский, Александр Дарюшин, Сергей Ширшиков. Многие из них увиделись после войны впервые. Их свела газета. Сергей Ширшиков рассказал, как погиб в сильный буран его друг Сергей Теснунц, с которым они фотографировались перед походом. А спустя какое-то время в редакцию явился «погибший Сережа». Он прочел о себе, был взволнован, хо-

тел узнать, как ему увидеться с Сергеем Ширшиковым.

Действительно, на перевале от полка в большую переделку. Боевые действия занесло снегом. Старший приказал укрыться в пещере, где уже лежали оконечившие солдаты. Двое суток сидел Сергей с товарищами в этой ледяной норе. Многие бредили, теряли сознание. Потерял сознание и Сергей. Очнулся только в сухумском госпитале. Оказывается, их откопали на третьи сутки и очень немногих удалось спасти. Через полгода Теснунц снова ушел на фронт и закончил войну в Вене.

Обо всем этом также было рассказано в «Бакинском рабочем». Разыскиали и Мелкумова, о котором спрашивали товарищи из Голой Пристанн. Радостны были все эти сообщения. Но все же хотелось узнать о тех, кого уже нет в живых.

3. Так все раскрывалось...

По старым фронтовым газетам, по беглым абзацам «Кавказских записок» Виталия Закруткина было известно о том, как погиб на перевале минометчик башкир Шарип Васиков. Он попал с товарищами в неприятельское кольцо, уложил полторы сотни фашистов. Когда враги подошли совсем близко, он бросал мины руками и последней, крикнув «Коммунисты в плен не даются!», взорвал себя. Весть о подвиге Шарипа облетела фронт, герою посвящали стихи, воодушевленные его поступком, в партию вступали десятки, сотни людей. Так погиб Шарип. А как же он жил? И где?

И тут на помощь пришли журналисты Башкирии. Корреспондент ТАСС из Уфы сообщил, что Шарип Васиков — уроженец деревни Тюльгузбаз, что жива его мать Зульябрия и сестры. Журналисты связались с семьей, со школой, чтоб узнать о его юности. Ведь очень важно знать не только подвиг, но и то, что предшествует ему.

В очень многих письмах защитников Марухского перевала повторялось имя Михаила Окунева. Все о нем говорили с какой-то особой сердечностью. Многие называли «душой обороны». Полковник Сергей Михайлович Малогин, бывший инженер 810-го полка, рассказал, как он вместе с начальником связи полка лейтенантом Александром Журиным вытаскивали Окунева из ледовой щели. Это было делом почти фантастическим. Связали трос из обмоток, расстелили на краю щели плащ-палатку, легли на нее (все это под обстрелом!) и стали вслепую опускать трос в щель, на дне которой хлопала ледяная вода. Долго опускали, пока трос вдруг не натолкнулся на Окунева.

Но самое удивительное было дальше. — Находился Миша в бессознательном состоянии и был весь синий, — вспоминает Сергей Михайлович. — Тепло укрытия нигде не было. Вся одежда на нем была мокрая и мерзлая, снять пришлось с помощью ножа. Я снял с себя нательное белье и одел на Михаила. Он стонал и бредил. Недалеко мы сложили и подготовили к захоронению много погибших наших товарищей. Некоторые тела были еще теплые. Мы положили Михаила в середину этой кучи тел. Он сразу затих, перестал стонать. Всю ночь я был оперативным дежурным на КП полка. С рассветом прошел к месту, где находился Окунев, оттащил несколько трупов в сторону, и вдруг Михаил с криком «Сергея! Друг!!» бросился ко мне на шею.

Где он сейчас? Никто из пишущих об этом этого не знал.

Редактор Попутько поехал в аул Абазакт к Яхье Нахушеву. Может быть, этот замечательный черкес, записавший в свой дневник все, что он увидел на войне, знал что-то и об Окуневе? Так и есть. Яхья, даже не заглядывая в тетрадь, сказал:

— Как же не знать Окунева? Я с ним дошел почти до Днепра. Он погиб во время штурма одной железнодорожной станции. Своими глазами видел.

Попутько обратился в Архив в спасительному Моисеенко. Был найден наградной лист, из которого выяснилось, что Михаил Александрович Окунев, 1917 года рождения, кандидат в члены партии, житель села Соколы Горы в Татари.

Из Черкесска полетело письмо в Соколы Горы с надписью на конверте: «Перепать в руки любому родственнику погибшего на войне майора Окунева, Михаила Александровича». Ответ пришел. Он пришел от 74-летней матери Михаила — Натальи Демидовны Окуневой. Оказывается, до войны Окунев был бухгалтером. Мать прислала его фотографию и последнее письмо, в котором на Запад. На своем пути он уничтожает все живое. Пепел от сел и деревень. Развалины от заводов и городов. Мое сердце полно ненависти. Мстить, мстить и мстить!» Матери уже было известно, что он похоронен на Украине, в селе Потоки, Аджановского района. Она переписывается с потюкскими школьниками. Вот несколько детских писем, которые она просит непременно вернуть...

Да, имя Окунева знают на Украине, его могилу чтут. Но никому — ни потюкским школьникам, ни семье его — не было до сих пор известно, какую «школу» прошел он до Украины, на Кавказе, защищая Марухский перевал.

И еще несколько слов о том, как нашли командира 810-го, а позже всего сводного отряда, защищавшего Марух. Известно было, что его звали Владимир Александрович Смирнов. И больше ничего. Искали через военкоматы, через семьи других погибших на перевале командиров, перерыли архив... И вот, спустя несколько месяцев, когда столько всего было найдено, Андрей Лаврентьевич Попутько, сидя в своем редакторском кабинете, услышал из приглушенного радиоприемника голос диктора Ставропольского радиокомитета: «А сейчас включаем запись воспоминаний о боях на Марухском перевале полковника Владимира Александровича Смирнова, который отдыхает у нас, в Кисловодске...»

Не трудно представить себе, что испытал в эти минуты Попутько: ведь он только что сам вернулся из Кисловодска?! Звонок в Ставропольское радио.

Звонок в Кисловодский санаторий: «Полковник Смирнов уехал вчера». Наконец, звонок в Москву, на квартиру Владимира Александровича: «Как же это произошло, что вы до сих пор не объявлялись?!».

Случилось так, что, находясь в санатории чуть ли не последний день, он услышал заключительные фразы передачи по радио. Читали очерк А. И. Гаевского, бывшего политука взвода автоматчиков, ныне журналиста, работающего на Украине. Владимир Александрович услышал знакомые названия: гора Кара-Кая, Марухский перевал, фамилии товарищей, даже свою... Разволновался очень, позвонил из санатория в Ставрополь:

— Так ведь это же я командир полка Смирнов!

На следующий день в санаторий приехали радиокорреспонденты с магнитофоном.

Вот так все и раскрывалось: газеты, телеграфные агентства, радио...

4. Отцы и дети

Передо мной письмо молодого конструктора Валерия Павлотаса из Ялты:

«Нет, я не участник обороны Кавказа и даже не очевидец этих событий. Я принадлежу к тому поколению советских людей, которые знают, что такое война, только по книгам, кинофильмам и рассказам старших. И все-таки у меня есть что рассказать о перевале Марух...»

Года четыре назад в район Маруха прошла большая группа инструкторов горного туризма. Заночевав на боковой морене ледника, молодежь обнаружила наутро около лагеря следы жестоких боев. Все кости снесли в одно место, сложили над ними холм, осыпали цвета-

ми рододендронов. Кто-то затаил «Барбарисовый куст», песню о солдате, погибшем за Родину в горах. 60 голосов подхватили ее. Так была отмечена печальная находка на пути. Но трое из группы пожелали продолжить поиски. Они вооружились ледорубами и по крутому снежнику поднялись на юго-восточную высоту, господствующую над перевалом и ледником.

«То, что мы увидели здесь, — пишет Валерий Павлотос, — навечно останется в нашей памяти. На северных и западных склонах был вырыт (нет, не вырыт! Здесь нет земли!), наворочен каменный вал высотой в три-четыре метра. В нем через определенные промежутки — пулеметные гнезда. Вся высота была усеяна гильзами, осколками от мин и снарядов. В окопах лежали скелеты. Над самым обрывом мы обнаружили сложенный тур. В нем оказалась винтовочная гильза, наполовину съеденная ржавчиной. В гильзе — мелкие остатки записки карандашом. На сохранившейся части можно было прочитать: «4. Иван.. Мешков, инженер из Баку. З... 42 г.». Рядом с туром — окоп, в котором мы нашли много самодельных деревянных ложек.

Бродя по высоте, среди глыб, я обнаружил патронташ. От прикосновения он рассыпался, и из него полетели обрывки тетрадного листа. Разбирая глыбы, мы, по клочку, стараясь не потерять ни одного, собрали это письмо. Написано было синими чернилами на грузинском языке. Собрав обрывки непонятно кем и зачем изорванного письма, мы увидели сверху текст, а под ним фамилии. Против последней фамилии стояла цифра «43».

Все эти находки, как пишет автор письма, были ими сданы в московский институт криминалистики. Потом, спустя года два, в печати промелькнуло сообщение о расшифровке записок, найденных альпинистами на Марухском перевале. И все.

Теперь, конечно, за это примутся, найдут расшифровку, разыщут инженера Мешкова в Баку и 43-х грузин. Дело не в этом. Дело в том, что уже в 1959 году были найдены свидетельства героической защиты Марухского перевала. Но как-то так случилось, что никто, кроме этой молодежи, почтившей их память, не встрепенулся. Более того, нечто подобное случилось и с другой группой альпинистов, московских студентов. Они тоже обнаружили останки и даже пришли на это место вторично в следующем году и принесли в рюкзаках разобранный по частям маленький самодельный обелиск. И опять это прозвучало как случайный, короткий всплеск.

И только в третий раз поднялась настоящая волна.

Хорошо, что она поднялась, что ее подняли так дружно, плечом к плечу братья-журналисты.

Мы намеренно не останавливаемся на подробностях военных операций по защите перевала. Об этом написано, пишется и будет писаться немало. Перевал Марух — это одна из страниц огромной, еще далеко не законченной книги великой войны советского народа с фашизмом. Но и сейчас можно сказать, что эта страница была трудной, кровавой и горькой.

Сосредоточив главные силы обороны Кавказа на самом побережье Черного моря, командование понадеялось на неприступность хребта. А туда полезли отборные, хорошо натренированные горно-стрелковые дивизии гитлеровцев. Их остановил главным образом героизм и стойкость наших людей, плохо экипированных, необученных, неподготовленных к борьбе в таких условиях, но знающих об одном — здесь надо стоять до конца. И на Марухском перевале стояли, не пропустив на южный склон хребта ни одного врага.

Поиск еще не окончен. Исследования продолжаются. Во всем этом историки разберутся тщательно. Сейчас хочется говорить о другом. Солнце растопило льды, горный ветер обнажил на склонах иссушенные временем кости. Повзрослели дети, никогда не знавшие войны. И первое, что пришло им в голову, — памятник! Давайте построим памятник героям!

В Черкесске вышли на воскресник, заработали, внесли деньги в фонд строительства памятника героям. В Тбилиси, в райком комсомола, явился целый класс и принес на памятник 28 рублей. «Молодежь Грузии» отдала в фонд гонорар одного номера. Дело закипело, взносы поступают отовсюду — сбережения, воскресные заработки и т. д.

А кто сделает памятник? Каким он должен быть? И где?

Киевляне выслали в Черкесск эскизы: монумент на самом перевале из скаль-стремнины. Очень заманчиво. Но кто будет видеть его?

Грузинские комсомольцы из Гипрогазпроза прислали телеграмму. Если, мол, решено возводить монумент в форме обелиска, то все проектные работы они выполнят своими силами. «Очень просим доверить нам эту почетную работу»...

Москва, Ленинград, Ростов. У всех возникают свои предложения. Тем временем молодые грузинские архитекторы едут в станцию Зеленчукскую примериться, посмотреть место. Здесь хорошо, станция красивая. В далекой дымке виден Марухский перевал. Юность Кавказа хочет сама увековечить бессмертный подвиг отцов.

Памятник — это прекрасное дело. А

что если подумать о том, чтоб через Марухский перевал проложить дорогу? Ох, как страдали здесь без дороги защитники Маруха! Бездорожье погубило много жизней еще до того, как их косил огонь. Без дороги, с тыла пробирались 12 наших бойцов темной ночью на занятую врагом высоту. И знаете, какой страшный обет дали они друг другу перед тем, как пойти? Если кто сорвется в пропасть, не издавать ни звука, чтоб не обнаружить других. Двое сорвались, не нарушив слова. Высота была взята.

Дорога была бы прекрасным памятником защитникам Марухского перевала. Дорога связала бы через хребет самым кратчайшим путем народы Северного Кавказа и Закавказья, две большие здравницы — побережье и группу Минвод...

Можно было бы создать для молодежи у Марухского перевала Всесоюзную школу горного туризма — великолепный вид спорта, воспитывающий в человеке чувство дружбы, чувство локтя, взаимовыручки. И это тоже была бы неплохая память о тех, кто сложил здесь свои головы, защищая Кавказ. Да разве мало чем можно еще отметить здесь память героев-отцов?!

Недавно по приглашению комсомольцев и журналистов в Карачаево-Черкесско приезжала небольшая группа участников Марухской битвы. Побывали на могиле однополчан.

А вслед за этим — в память героических защитников Марухского перевала

ла в августе нынешнего года состоялось массовое восхождение; в нем приняло участие 1800 человек! Ветераны Великой Отечественной войны, герои битвы за Кавказ, представители общественности всей страны...

С двух сторон — из Черкесска и из Сухуми вышли колонны. Они встретились на легендарной вершине Маруха. Встреча была волнующей, знаменательной. Встретились не только участники боев на вершине Маруха, вновь, спустя 21 год прошедшие по памятным местам битвы за Кавказ. Произошла встреча отцов с сыновьями, которые приняли из их рук эстафету защитников Родины.

А еще как-то у братских могил героев Великой Отечественной войны состоялся митинг в станице Зеленчукской. И тогда зеленчукские школьники спели участникам боев на перевале свою немудреную песню:

Полк восемьсот десятый
Горный хребет охранял.
Бился с врагом проклятым,
Кровью снега обаграл...

Чем-то она напомнила ветеранам Маруха песню, которую они пели в своем детстве:

По долинам и по взгорьям...

Все правильно: корни питают ствол, ствол — ветви, ветви — листву. Так было и будет всегда.



Георгий ГИГОЛОВ

Горький и Тархнишвили

В огромном потоке критической литературы, порожденной пьесой М. Горького «На дне», затерялась или, во всяком случае, не обратила на себя должного внимания одна весьма интересная статья. Называется она «Герои «На дне» Максима Горького с биологической точки зрения»¹. Автор ее Иван Рамазович Тархнишвили (Тарханов).

В небольшой, да еще литературоведческой работе, вряд ли уместно характеризовать Тархнишвили как ученого. О знаменитом физиологе, крупнейшем представителе отечественной науки, существует обширная литература. Перед нами другая задача: понять причины, побудившие ученого-физиолога высказаться о пьесе, хотя и очень по-

пулярной в то время, но непосредственно не примыкающей к той области, в которой преобладали научные интересы Тархнишвили, осветить содержание самой статьи о пьесе «На дне» и, наконец, выяснить на основании небольшого, к сожалению, количества фактов отношения между великим писателем и выдающимся ученым.

Тархнишвили принадлежал к тому типу ученых, круг интересов которых выходил далеко за стены их кабинета или экспериментальной лаборатории. Воспитанный на общественных идеалах шестидесятых годов, ученик Сеченова, друг семьи Чернышевского, он через всю свою жизнь пронес, как знамя, мысль об утилитарности науки, о связях ее с задачами общественной жизни. «Все, что существует, должно стать предметом изучения науки, и все, чего достигает наука, должно проводиться в жизнь». Всегда и во всех своих делах Тархнишвили следовал этим замечательным словам. Самое деятельное участие принимал он в работе народных университетов и являлся инни-

¹Опубликована в журнале «Вестник и библиотека самообразования», 1903 г., № 26—27, а также отдельным изданием, СПб, 1904 г. Содержание этой статьи зачитано Тархнишвили в публичной лекции в Петербурге (отчет о ней см. «Иверия», 1903, 4 мая).

циатором многих мероприятий научного и общекультурного значения. Это был выдающийся пропагандист научных знаний, в совершенстве владевший трудным искусством говорить о самых сложных проблемах науки просто и доходчиво. Потому-то он никогда не знал пустых аудиторий. Многочисленные статьи в газетах и журналах, подписанные скромными инициалами «И. Т.», а то и просто без подписи, публичные лекции и беседы на научно-практические темы, проводимые прославленным академиком, удивляют не только широкой эрудицией, но и той редкой целеустремленностью, с какой пропагандировались им научные знания в самых широких массах народа. Популярно-научный еженедельник «Знание и жизнь» и журнал «Здоровье», редактируемые Тархнишвили, служили этим же высоким целям. И что еще чрезвычайно характерно для Тархнишвили — это умение вопросы науки всегда связывать с социальной проблематикой; проявилась эта способность в нем давно, в самую раннюю пору его научной и публицистической деятельности, когда в 1869 году им была написана для некрасовского журнала «Отечественные записки» статья — «Психолого-социальный этюд». Потому-то в своих частных выступлениях в печати он касался — в связи с теми или иными чисто научными вопросами — многих сторон социальной действительности: детской смертности, эпидемических заболеваний, плохой постановки борьбы против такого бича трудящихся в царской России, как туберкулез, положения в городских трущобах, в которых прозябали десятки тысяч людей, обреченных на голодную смерть, тех, которых в свое время называли босяками... Вот тут мы и подошли к вопросу, почему Тархнишвили написал статью о пьесе Горького.

Босячество в дореволюционной России приняло колоссальные размеры и как социальное явление стало неотъемлемой частью всей самодержавно-буржуазной действительности. Бесчисленные сонмы людей — все эти босяки, галахи, раклы, золоторотцы, жиганы — скитались по просторам огромной империи, по ее городам и весям, в поисках пропитания, то оседая на время холодов в различных ночлежках, притонах, на кладбищах, в ямах и скатах — где придется, то снова с наступлением теплых дней отправляясь в горемычное бродяжничество, и гибли, гибли от холода и голода, от непосильной работы и увечий, от болезней и эпидемий... да мало ли от чего погибали эти «бывшие люди»? Как раз в то время, когда Горький создавал «На дне», В. И. Ленин писал: «...увеличение числа босяков и нищих, посетителей ночлежных до-

мов и обитателей тюрем и больниц — не обращает на себя внимания, потому что ведь «все» так привыкли к тому, что в большом городе должно быть переполнены ночлежные дома и всякие притоны самой безысходной нищеты».

Великий пролетарский писатель — это не «все». В своей критике буржуазной действительности он не мог пройти мимо такого страшного явления, как босячество. Пьеса «На дне», с небывалой силой обнажившая пороки социального уклада России, стала фактом огромного общественного значения — она обратила внимание всех честных людей на то самое «дно», где медленной смертью умирали миллионы.

Именно так расценил появление горьковской пьесы Тархнишвили. Отметив своевременность ее появления, ученый-публицист писал: «Мы должны быть благодарны Максиму Горькому за образное изображение этих подонков общества. Не чувство восхищения подобного рода героями должно вызывать это произведение, а горячее желание прийти на помощь этим несчастным, вытащить их из трущоб на свет божий... Предоставим «дну» лишь один минеральный неодошвенный мир. Все же живое, носящее облик человека, должно быть вытнуто из этих темных низин на свежий воздух и снабжено тем минимумом, на который имеет право каждый гражданин». Помочь этим обездоленным людям, сделать все возможное, чтобы извлечь их из «низин» жизни — таков гуманистический вывод Тархнишвили, который, апеллируя к науке, дающей, по его словам, «ясное представление о необходимейших биологических и социальных условиях жизни», призывает «применить эти знания и дружно очистить эти живые могилы».

Таким образом, ничего удивительного в том, что Тархнишвили написал критическую статью о таком остром в социальном отношении произведении, как пьеса «На дне», — нет. «Незаконное», на первый взгляд, вторжение ученого-физиолога в чуждую, казалось бы, ему область явилось на самом деле обычным для него проявлением общественного темперамента и глубокой взволнованности за судьбы миллионов простых людей.

Судя по заглавию, статья Тархнишвили «Герои «На дне» Максима Горького с биологической точки зрения» посвящена специальной проблеме и имеет дело с одной лишь стороной этого замечательного произведения. На самом же деле это не так. Ее содержание намного шире и характеризует горьковскую пьесу с разных аспектов.

¹ Ленин В. И. Сочинения, т. 5, стр. 251.

В основе всех суждений Тархнишвили в этой статье лежит мысль о реальности персонажей пьесы «На дне»... Что же, собственно говоря, здесь такого удивительного, на что следует обратить внимание? Удивительного, конечно, ничего нет, и вряд ли современный нам критик будет ломиться в открытую дверь, доказывая что герои пьесы — живые люди, выхваченные писателем из самой что ни на есть доподлинной жизни. Но ведь было же время, когда довольно значительная часть критики находила, что в горьковских героях — и не только в «На дне» — заключено больше от самого автора, чем от живой действительности, что Горький, поступаясь де иногда художественной правдой, наделял своих героев собственными мыслями и чувствами. Еще в девяностых годах подобную точку зрения выставил Н. К. Михайловский. Вопреки подобному взгляду Тархнишвили решительно признает, что нарисованные Горьким типы босяков «являются цельно очерченными, правдивыми, живыми и в качестве таковых заслуживают анализа с биологической точки зрения». Заслуга Горького, по мысли ученого, в том и заключается, что он «сумел своим могучим талантом обрисовать... целый мир несчастных», и несчастные эти, считает он, — не выдумка, а живые люди.

Публицистику и литературную критику тех лет, когда с таким шумным успехом вошли сначала в литературу, потом на сцену босяки, не мог не интересовать вопрос: откуда они взялись, эти люди, каково их происхождение, что их породило?

Выше было сказано о распространенности босячества. А каковы причины, порождающие его?

Босячество, как массовое явление, родилось в результате социально-экономических и общественных сдвигов, происшедших в пореформенный период. Освобождение крестьян без земли, неспособность развивавшейся промышленности использовать эти, вдруг оказавшиеся свободными, миллионы рук, периодические промышленные кризисы, выбрасывавшие на улицу десятки тысяч рабочих, обнищание ремесленного люда, не выдерживавшего конкуренции с машинным производством, разорение помещичьего хозяйства и многие другие аналогичные причины создавали почву для роста подобного уродливого явления, как босячество.

Но такой, в сущности, простой вопрос, как происхождение в массовом порядке «лишних людей», буржуазная критика осложняла и запутывала множеством хитроумных, но никакого отношения к правильному его решению

не имеющих рассуждений и домыслов. В силу своей идейной ограниченности она не могла точно и ясно ответить на вопрос, откуда берутся эти, выброшенные за пределы нормального существования, сотни тысяч людей. Их считали и потомками «гуляющих людей», и рецидивом кочевого быта, и даже по собственной воле покинувшими оседлую жизнь беглецами, по выражению Михайловского, не столько отвергнутыми, сколько отвергшими, а то и просто — отбросами человеческого производства. Для известного критика того времени босяки — «плохие, неумелые пловцы, которых захлестнула волна жизни, и они пошли ко дну... субъекты психически неуравновешенные. Их душа недостаточно скреплена цементом воли. У них не хватает характера». Это мнение Овсяннико-Куликовского. Конечно, имелись и верные суждения о происхождении босячества, но основной тезис, господствовавший в буржуазной критике тех лет, сводился к простому — сами, мол, виноваты. Таким образом, социальному строю, порождающему босячество и нищенство, выдавалось нечто вроде индульгенции.

Тархнишвили специально не останавливается на этом вопросе, но его не могли не заинтересовать истоки появления босяков или, по его словам, «основные причины, доведшие их до этих низин жизни». Рассыпанные в разных частях статьи мысли, а также все ее направление, со всей очевидностью говорят о том, что вопрос, откуда берется босячество, он решал с социальной точки зрения. И это тем более показательно, что автор статьи о биологической сущности горьковских героев должен был, казалось, обосновать этот вопрос биологически, а не социологически. «Стоит только вспомнить жизнь героев этой драмы, чтобы видеть, что общей причиной, обусловившей оседание их на дно, является нищета со связанным с ней голодом и холодом», — читаем в статье.

Итак, общая причина — нищета.

Наличие этой общей причины не исключает, разумеется, и элемента случайности в процессе вытеснения отдельных людей из ложа нормальной жизни на «дно», и Тархнишвили прекрасно видит это. Например, Сатин. В бытность свою «человеком» он служил телеграфистом и, очевидно, не нужда довел его до ночлежки Костылева. Он убил осквернителя своей сестры, вступившись за ее честь, и в результате — тюрьма и «дно». Частный случай? Не совсем. Кривую падения этого одаренного человека Тархнишвили представляет так: «По выходе из тюрьмы он не мог добыть работы и от нужд, лишений и горя опускался и попал, наконец, на дно». Вот и по-

лучается, что за этим «частным» случаем снова проступают те причины, которые обусловлены всей социальной системой буржуазного общества, и осуждают бедняка на жалкое существование в «низинах жизни».

И когда человек выбрасывается из жизни, когда он лишается самого необходимого — куска хлеба, вступают в силу биологические факторы.

Первый из этих факторов — голод. В какой бы форме он ни проявлялся — в форме ли острого голодания или хронического недоедания, — он вызывает в центральной нервной системе существенные нарушения, затрудняющие нормальные функции нервных центров или атрофируя их. Вследствие голодания происходит ряд изменений в кровеносных сосудах, а это затрудняет обмен между кровью и мозгом — обстоятельство, еще более способствующее расстройству в сфере нервных мозговых механизмов.

Ту же роль в нарушении нормальных отправлениях человека, что и голодание, играет холод — второй биологический фактор. Если вспомнить, указывает Тархнишвили, что тепло получается за счет сгорания доставляемых пищей элементов и что одежда, в известном смысле, является эквивалентом пищи, то станет ясным, что «холод рубиц, прикрывающих тело бедняков, еще более отягощает голодание».

Помимо голода и холода у обитателей «дна» имеется еще один страшный спутник, сопровождающий их всю жизнь, — алкоголь. Почти все персонажи горьковской пьесы пристрастны к нему, особенно Актер, на примере которого отчетливее, чем в других бояках, проступают черты хронического алкоголизма. Тархнишвили набрасывает, можно сказать, клинически точную картину воздействия алкоголя на человеческий организм. Сначала, на первых стадиях опьянения, человек испытывает чувство довольства, его мысли как будто даже проясняются. Но постепенно, парализуя волю и внимание, алкоголь ведет его к самым неожиданным выходкам, а при сильном опьянении — к умоисступлению и «белой горячке». После сильного возбуждения, однако, наступает спад, физическая и душевная деятельность резко слабеет, и человек погружается в сонливое состояние. Вот в этих-то свойствах алкоголя и заключена, по мысли Тархнишвили, притягательная сила водки для всех тех, кто обездолен жизнью и принужден влачить жалкое существование. Хмель дает всем им призракную возможность забыться и уйти от жестокой действительности.

Тархнишвили не отрицает наличия и наследственного алкоголизма. Но даже

в понятие «наследственности» — и это очень показательное для его материалистического мышления — он вводит социальные категории, например, «среду». Так называемые «наследственные» алкоголики потому становятся таковыми, что с детства воспитываются в соответствующем направлении, находятся, так сказать, в «благоприятных условиях», которые и делают их пьяницами. Потому в деле перевоспитания подобных людей Тархнишвили главными моментами считает «условия разумной среды» и «социальные влияния».

Таким образом, делает вывод ученый, голодание и холодание с сопутствующим им алкоголизмом, ослабляя и коверкая сознание, мысли, волю и чувства обитателей «дна», ведут их к инвалидности, делают неспособными к борьбе за существование. Потому-то в них нет жизнеупорства ни в физическом, ни в нравственном отношении. В первом случае они легко становятся добычей различных болезней и эпидемий: их истощенный организм не в состоянии противиться заболеваниям. Во втором — слабость воли и вообще всех душевных сил делает их пассивными существами, легко тягивающимися в цепкие объятия пагубной среды.

Для либерально-буржуазного критика Овсяннику-Куликовскому психическая неуравновешенность — первопричина появления «лишних людей». Для Тархнишвили — она следствие, результат давления на них биологических факторов, которые, в свою очередь, порождаются все теми же социальными силами — они-то и являются первопричиной, выбрасывающей из жизни людей. А в людях этих, по наблюдению Тархнишвили, то здесь, то там пробиваются «светлые человеческие черты», которые делают их «не глухими к идеям правды, добра и даже красоты». Это очень важное наблюдение, начисто опровергающее «психологическую» теорию происхождения босячества.

Таковы соображения ученого-физиолога относительно биологической и психической сущности героев «На дне», переданные нами в общих чертах.

Интерес, заключенный в статье Тархнишвили, не ограничивается, однако, только этим. Она содержит ряд литературно-критических характеристик, достойных внимания.

Начать хотя бы с того, что Тархнишвили делает удачную попытку разобратся в драматургических особенностях горьковской пьесы.

Известно, что вскоре после появления «На дне» в критической литературе стали раздаваться голоса скептиков о драматургической несовренности пьесы, свидетельствующие о том, что для большинства критиков буржуазного лагеря новаторство Горького как

драматурга оказалось слишком крепким, не по зубам, орешком.

Тархнишвили верно уловил характерную особенность драматургического построения «На дне», свойственную почти всем пьесам Горького — наличие в ней двух конфликтов, назовем их условно, одного — «внешнего», другого — «внутреннего». Развиваясь параллельно, а иногда пересекаясь и образуя драматургические узлы, они не однородны и неравноценны в своей идейной значимости. «Внешний» конфликт, — собственно говоря, скорее драматургическая коллизия — последовательно, с течением пьесы, затухает, уступая место другому — «внутреннему», который, все более развиваясь, и определяет, в конечном итоге, всю образно-идейную структуру пьесы. Как правило, этот второй, доминирующий, конфликт строится на столкновении не столько поступков действующих лиц, сколько мировоззрений.

Драматургическую коллизию «На дне» или, как он ее называет, «главную канву интриги», Тархнишвили усматривает в сюжетной линии — Васька Пепел, Наташа, Василиса и убийство Костылева. Но — и это делает честь его проницательности — не в этой интриге заключена, по мысли Тархнишвили, вся «сила пьесы».

Видный театральный критик того времени, когда горьковская пьеса начинала триумфальное шествие по сценам всего мира, Кугель — один из «соавторов» версии о несценичности «На дне» — находил, что ее герои «разговаривают, подчас метко и характерно, но между ними нет взаимоотношений, дающая сцепление характеров». Такова точка зрения профессионального критика.

А вот мнение «дилетанта». Всю силу пьесы «На дне», главное, основное в ней, Тархнишвили видит «в обрисовке типов ночлежников, их взглядов на жизнь, поскольку они выражаются как во взаимных отношениях между собою, так и к героям главной интриги — к хозяевам, к Васье Пеплу и, главным образом, к страннику Луке». Не правда ли, весьма любопытно! Для Кугеля персонажи «На дне» существуют каждый сам по себе, «между ними нет взаимоотношений», а это значит, что в пьесе нет действия, есть только независимые друг от друга люди и отдельные сцены. В глазах же Тархнишвили, наоборот, притягательная сила пьесы заключается как раз во «взаимных отношениях» ее героев, в их отношении к интриге («внешний» конфликт) и, главным образом, к — Луке («внутренний», идейный конфликт).

Действительно, идейный конфликт пьесы «На дне», в который вложено глубокое общественно-философское со-

держание, начинается с момента прихода в ночлежку Луки, странника, сразу взбудоражившего ее обитателей. По тому, как они отнеслись к появлению Луки и его проповеди, можно судить о характерах и настроениях персонажей пьесы, в которой, все расширяясь, намечается пропасть между двумя точками зрения на жизнь и роль человека в ней: одна — выраженная «лукавым старцем», другая — вложенная в уста Сатина.

Жертва жизненных обстоятельств, Сатин является, по определению Тархнишвили, «заядлым протестантом». В монологах Сатина, в его замечательных словах о Человеке и в рассуждениях о лжи и правде, которые не могут не imponировать Тархнишвили, он слышит «сильный протест против современных социальных условий жизни». Воздавая должное Сатину, Тархнишвили, тем не менее, усматривает и слабость его. В чем она заключается? А в том, что «дело ограничивается словами, мимолетными взрывами этого негодования, и грязная тина вертепной жизни в помощь со спиртным парализуют его волю и все стремления выбраться на чистый воздух, на верный путь, и он до конца остается преданным обитателем вертепа, покорно следующим за всеми его нзмненными стремлениями и действиями»¹.

Поскольку Сатин не боец и его протест — чисто словесный, — где же выход, откуда ждать помощи ночлежникам? Вот тут-то и появляется, по мысли Тархнишвили, спасительность проповеди Луки, принесшего к измученным людям «дух умиротворения и человечности». Для него Лука — «не человек протеста, желающий внести и установить добро путем ломки старого, путем кровавой борьбы со злом, а человек тяжелого опыта, испытавший на своей шкуре, что путь мирного развития с идеальным стремлением ко всему лучшему и уменьшением людских страданий есть наиболее верный гуманный путь».

Скажем сразу: Тархнишвили правильно увидел в пьесе противопоставление двух мировоззрений, двух гуманизмов, но их столкновение трактовал ошибочно — в пользу Луки, который в его глазах оказался носителем некоей высшей правды, способной якобы

¹ Правильность указания на бездеятельность Сатина подтверждается тем общеизвестным фактом, что сам Горький отмечал несоответствие речей Сатина его положению «бывшего человека», увы, уже не способного ни на какие активные действия. Лучшее, что есть в Сатине, — его речь о Человеке, которая, однако, по словам Горького, «чуждо звучит его языку».

внести в истстрадавшие сердца «веру человека в свои силы, в правду и добро и восстановление лучшей жизни, в возможность обновления». Все это, конечно, не так. Совсем не так! Ни к какому «восстановлению лучшей жизни», ни к какому «обновлению» с помощью Луки прийти нельзя. Если его проповедь и вела куда-нибудь, то только к пассивизму, который обескровливает людей, давая им, по выражению Горького, вместо хлеба насущного мыльные пузыри, к тому пассивизму, который закрепляет существующий ад и играет, таким образом, сугубо реакционную роль. То же «доброе», что практически сделал Лука для некоторых ночлежников, — поддержал последние часы умирающей Анны, поверил грезам Насти о «роковой любви», смугил Актера рассказными о лечебнице для пьяниц, заронил в него надежду на исцеление — все это на поверку оказалось весьма относительным и не только не принесло людям облегчения, но еще более усугубило их и без того тяжелое положение, а в некоторых случаях привело к трагедии. Наваянный Лукой «золотой сон», продолжавшийся очень недолго, закончился для многих ночлежников страшным пробуждением, и он осужден как всем строем пьесы, так и словами Сатина о социальной функции жижи — религии рабов и хозяев.

Всего этого Тархнишвили не увидел. Но этого в то время не увидел почти никто!

Подавляющее большинство критиков, писавших о «На дне», основной конфликт пьесы трактовало как победу Луки, как торжество его пассивно-идеалистической проповеди терпения, причем не следует думать, что эта точка зрения высказывалась исключительно либерально-буржуазными и реакционными критиками. Ее разделял и виднейший представитель марксистской критики В. Воровский, назвавший Луку «выразителем симпатичной автору этики». Показательно, что и в западно-европейской критике эта либеральная концепция Луки была повторена Ф. Мерингом.

После всего сказанного стоит ли удивляться, что Тархнишвили в своем понимании революционной пьесы Горького отдал дань распространенной в его время либеральной точке зрения на нее. Удивляться, пожалуй, можно другому — тому, что неприемлемых характеристик у него гораздо меньше, чем это можно было ожидать. В целом ряде случаев мысли и наблюдения Тархнишвили отличаются меткостью и верностью, что и делает его статью интересной и заслуживающей внимания.

Выступление Тархнишвили на кри-

тическом поприще, таким образом, следует считать весьма успешным, и его очередной опыт — на этот раз в области литературной критики, поставленный и проведенный с присущей ему, как ученому-физиологу, тщательностью, — на редкость удачным.

Горький и Тархнишвили познакомились весной 1905 года в Финляндии, в Куоккала. Это произошло 27 мая в знаменитых «Пенатах». В этот день у хозяина «Пенатов» И. Е. Репина собрались гости. Старинный снимок запечатлел их, стоящими рядом, — самого Репина, Стасова, Л. Андреева, Горького и Тархнишвили. В этот же день все присутствующие у Репина расписались на обыкновенной почтовой открытке.

Чтобы понять весь смысл знакомства Горького и Тархнишвили и последовавших затем встреч то у Репина, то у самого Горького, посмотрим, что представлял собою куоккальский период в жизни великого писателя.

В Куоккала Горький провел около трех с половиной месяцев, со второй половины мая по сентябрь 1905 года. Пребывание здесь ознаменовалось в жизни Горького новым творческим подъемом. Благодаря его присутствию, Куоккала — небольшой финский курорт — обрел огромную притягательную силу. Сюда, к великому писателю, стекались виднейшие представители русской литературы и искусства. Под гостеприимным кровом горьковской дачи или в «Пенатах» постоянно встречались Стасов, Куприн, Шаяпин, Л. Андреев, Гарин-Михайловский и многие другие писатели, художники, артисты. Гостили у Горького и деятели финской культуры... И можно представить себе, каким высоким творческим накалом отличались куоккальские встречи этих людей, каждый из которых был знаменитостью! Здесь в непринужденной дружеской атмосфере Горький читал «Человека» и «Детей солнца», Шаяпин пел, О. Габрилович играл на роле, Тархнишвили устраивал импровизированные лекции на научные темы и, судя по отзывам Репина, приводил всех в восторг; ну, а сам Репин, этот не знавший усталости великий труженик, и сейчас работал, не покладая рук: он как бы спешил оставить потомкам эпизоды куоккальских встреч — и оставил! Один из эпизодов куоккальских

¹ Карандашный рисунок — Горький у Репина на веранде читает «Детей солнца»; портрет писателя Л. Андреева; портрет жены Горького М. Ф. Андреевой; набросок совместного портрета Горького и М. Ф. Андреевой.

встреч запечатлел и Горький в небольшом отрывке, замечательной драматической миниатюре. Право, она стоит того, чтобы привести ее полностью (тем более, что в собрание сочинений писателя она не входила).

«У И. Е. Репина — гость: словоохотливый и ученый князь Тарханов. Выкапывая глаза из-под лба, он рассматривает картины на стенах в кулак, трясет черной гривой и кричит:

— Гениально! Неподражаемо!

Илья Ефимович, простец-человек, сконфуженно ежится и возражает:

— Ну что вы... Ах, где же мне...

— Нет, это превосходно! — распалаясь, кричит князь. — Позвольте — что это? Что это за ребенок! О! Вот — искусство. Вот — самое лучшее ваше произведение. Боже мой! Какая удивительная вещь!

Илья Ефимович удивленным баском спрашивает:

— В самом деле?

— Как физиолог я говорю вам, что впервые вижу такое изображение дегенерации.

— Да разве? — удивляется Илья Ефимович. — Это очень интересно.

— Вы не можете, да вы и сами не можете оценить, как это верно взято, как великолепно выражена вами здесь, на холсте, полная картина вырождения!

— Скажите пожалуйста! — удивляется Репин.

— Как физиолог я говорю вам, что уже отец этого ребенка должен был быть ненормален.

Илья Ефимович внимательно смотрит на портрет, дергая себя за бородку, и тихо говорит, все более удивленный:

— Замечательно! Нет, в самом деле.

— Ну да! — уверенно и горячо продолжает князь. — Я, физиолог, говорю вам, что уже отец этого ребенка — дегенерат, полудидот.

И он долго, подробно изъясняет признаки идиотизма отца, ясно отображенные художником на портрете сына. Наконец спрашивает:

— Но чей же это ребенок?

Илья Ефимович уверенно и серьезно, мягким баском, отвечает:

— Мой сын Юрий!»¹.

Да, ничего не скажешь! Сценка эта, любопытная сама по себе, удивительно ярко и выпукло рисует два характера, двух людей. Горький и здесь, в этом наброске, — великий художник!

Один из участников диалога — горячий, темпераментный, экспансивный. Глядя на холст, Тархнишвили настолько увлекся, «как физиолог», гениальным изображением «полной картины вырождения», что забыл обо всем во круг и не заметил, на какую скользкую стезю вступил, заговорив об отце ребенка. А тем временем Репин, хоть и «простец-человек», сразу оценив пикантность создавшейся ситуации, начал еще более подзадоривать собеседника, заставляя высказаться до конца об отце «дегенерата»... А потом неожиданно — ушат холодной воды и достойный финал этого острейшего диалога — конфуз знаменитого ученого.

Но дача Горького в Куоккала явилась пристанищем не только для муз. Она стала своеобразной ячейкой революционного подполья в бурный 1905 год, местом конспиративных встреч по делам большевистской партии. На нелегальном положении здесь жилали рабочие-подпольщики. По партийным делам приезжали сюда Красин, Буренин, Стасова и другие видные деятели большевистской партии. Посещали Горького и финские революционеры.

И здесь в Куоккала Горький находился под наблюдением властей. За ним и его посетителями постоянно следили жандармские агенты и регулярно доносили о «сборищах» в его доме.

Вот в этих условиях и познакомились два больших человека. Не правда ли — весьма и весьма многозначительное знакомство? Тархнишвили очень быстро вошел в обычный круг друзей великого писателя и стал частым гостем его. О чем это говорит? О многом и, прежде всего, о том, что для их сближения имелась соответствующая почва.

Тархнишвили не был революционером в горьковском смысле этого слова. Но несомненно, что он был передовым ученым и радикально мыслящим человеком. О его умонастроениях в период революции 1905 года имеются многочисленные данные, весьма интересные.

Так, он неоднократно указывал на «общую неустроенность нашей общественной жизни» и причину этой неустроенности видел в капитализме с его частыми «экономическими и политическими кризисами». Капиталисты — эти «бессовестные аферисты и спекулянты» — грабят народ, эксплуатируют трудящиеся массы и ведут их к полному обнищанию. «Физический работник, наш землешапец или фабричный работник, который, живя вечно впроголодь, удрученный часами дневной работы и вечно волнуясь о куске насущного хлеба, — говорит Тархни-

¹ Архив А. М. Горького, т. III, М., 1951, стр. 58—59. Судя по примечанию редакции Архива, отрывок этот, условно названный ею «Об И. Е. Репине и кн. И. Р. Тарханове», написан в 1906—1907 гг.

швили в книге «Нервный век» (1906), — истощает свой организм как недоением, физическим переутомлением, так и непрерывными волнениями, обусловленные шаткостью своего положения и семьей своей. Всею душой он приветствовал освободительную борьбу трудящихся против самодержавия и капитализма, считая ее в условиях России совершенно закономерной и справедливой. «Сотни тысяч рабочих людей встрепенулись от своего многолетнего сна и порешили, что жить при прежних условиях их политического, экономического быта уже более невозможно, так как условия эти не отвечают ни основным чисто физическим потребностям организма, ни требованиям человеческого достоинства» («Рабочий вопрос и медицина», 1905). Таковы, по мнению Тархнишвили, причины начавшейся революции, обусловленные теми невыносимыми условиями жизни, в которых десятки лет жил рабочий народ¹.

Сочувственное отношение к тяжелому положению народных масс, понимание причин революции, радикализм политического мышления, словом, весь строй мыслей и чувств Тархнишвили и влекли его к Горькому как к Буревестнику революции и великому художнику, одно имя которого уже стало символом демократии и свободы.

Что же касается самого Горького, то и у него, думается, имелись свои основания для сближения с замечательным ученым и человеком.

Давно, еще в детстве, в Горьком пробудился тот неистребимый интерес к науке, который с годами стал неотъемлемой частью его натуры. Познать мир, его устройство, постичь тайны природы — «это естественное и — в сущно-

сти — очень скромное желание незаметно выросло у меня в neodолжимую потребность», — писал он. Проходя очередной курс своих нелегких «университетов» в Казани, будущий писатель, как известно, посещал кружок молодежи, поклонявшейся естественным наукам, для которой книга Сеченова «Рефлексы головного мозга» была «евангелием». Под руководством своего друга С. Сомова молодой Горький изучал — именно изучал! — физиологию — науку, которой посвятил Тархнишвили всю жизнь. В Казани же он посещал лекции Бехтерева и больницу для душевнобольных. В селе Красновидово, наряду с революционной работой, ради которой и приехал сюда, он «с жадностью» поглощал книги по естествознанию. Это — в молодости. А в конце жизни — с каким вниманием великий писатель относился к учению Павлова или как волновали его проблемы экспериментальной медицины, для которой, кстати сказать, он так много сделал! Все, что касалось науки, Горький всегда принимал близко к сердцу.

И это не удивительно. Ведь горьковский Человек — Человек с большой буквы — в своем neodолжимом продвижении «все вперед и выше» опирается на Мысль, «и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает перед ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него».

Но если интерес Горького к науке, в частности, к естественным наукам, — величина, так сказать, постоянная, то в то время, о котором идет речь, он еще более усилился и настолько, что, находясь в заключении в Петропавловской крепости в январе-феврале 1905 года, писатель в предельно короткий срок создает пьесу «Дети солнца», проникнутую глубокими раздумьями об интеллигенции, о науке и ее месте в общественно-политической борьбе. Над ней Горький продолжал работать и в Куоккала, как раз во время встреч с Тархнишвили.

...Нет, мы не собираемся доказывать идентичность Тархнишвили и главного героя пьесы — ученого Протасова — не только потому, что во время написания «Детей солнца» Горький еще не был знаком с Тархнишвили, и не потому, что один был физиологом, а другой химиком. Дело в другом.

Соприкасаясь где-то друг с другом, Тархнишвили и Протасов представляют в то же время совершенно различные типы ученых. Литературный герой, как и Тархнишвили, всю свою жизнь посвятил науке, полностью и беззаветно. Он задался грандиозной целью — разгадать тайну живой материи и дать,

¹ О политических воззрениях Тархнишвили можно судить и по другим данным, правда, косвенным. Мы имеем в виду письма Репина к нему. Не стесняясь в выражениях, Репин во многих из них обличает самодержавие — эту, по его словам, «нелепость», «невежественную, опасную и отвратительную по своим последствиям выдумку дикого человека», называет царя «держимордой», «гнусным варваром» и клеймит в связи с русско-японской войной «завоевательные вождельства» царизма. Великий художник в письмах к Тархнишвили выражает свою веру в «коллективные силы», способные «упрятать нелепого варвара и взять под опеку его царство». Правда, слова эти принадлежат не Тархнишвили, но зато они адресованы ему, а это уже говорит о многом: не стал бы Репин громить самодержавие, да еще в столь энергичных выражениях, перед человеком, не разделяющим его взглядов.

тем самым, человечеству могучее оружие в борьбе с природой. В этом же направлении, в конечном итоге, работал и Тархнишвили. Несомненно, под многими пламенными словами Протасова о всемогуществе науки и человеческой мысли, не знающих предела в неодолимом стремлении проникнуть в загадки бытия, мог бы свободно расписаться и Тархнишвили, причем это говорится не предположительно — в многочисленных высказываниях Тархнишвили встречаются мысли, аналогичные мыслям Протасова. Да и кроме того, сходство между ними дополняется еще и тем, что оба они морально чистые люди, бессребренники, не способные на сделки и компромиссы.

Но в своем искреннем стремлении облагодетельствовать человечество научными открытиями, Протасов — и здесь корень его трагедии — настолько погрузился в исследования, что совершенно оторвался от конкретной жизни и людей. И в этой отчужденности от всех и вся — его ахиллесова пята, его несчастье и несчастье той науки, которую он представляет. По мысли великого писателя, судьба подлинной науки связана с судьбами народа и демократии. Протасов этого не знал. Ему и в голову не могло прийти, что между всем происходящим за стенами его лаборатории и его опытами существует, может быть и незримая, но теснейшая связь. За всю свою жизнь он, наверно, ни разу не обратил своего взора на тех людей, на те массы людей, с которыми постоянно общался его коллега Тархнишвили и в судьбах которых был так заинтересован. Протасову, таким образом, не хватало того, чем, можно сказать, в избытке владел ученый-общественник, — социального зренья. Вот эта-то атрофия социального зренья и свойственная ему аполитичность и делают протасовскую науку и его самого очень уязвимыми в условиях буржуазного общества, которое стремится использовать научные достижения для утверждения и упрочения своего господства — против народа и демократии. Все это — увы! — для Протасова находилось за семью печатями, для Тархнишвили же с его формулой — «жизнь — для науки, наука для жизни» — неоспоримо.

Явления познаются не только в их тождестве, но и путем негативного сопоставления. Возникает вопрос: мог ли Горький не обратить внимания во время встреч с Тархнишвили на тот водораздел, который отделял его от Протасова. Думается, нет. Образ выдающегося физиолога должен был, несомненно, привлечь внимание Горького теми его качествами, которых так не хватало герою «Детей солнца», — он был

куда ближе к тому идеалу ученого, который со всей очевидностью вырисовывается из отношения писателя к Протасову. А это обстоятельство, несомненно, сыграло свою роль в укреплении того контакта между Горьким и Тархнишвили, который наметился летом 1905 года во время пребывания их в Куоккала.

«Дети солнца» создавались в контексте глубокого внимания Горького к естественным наукам. Незадолго до ее написания Горького очень привлекла только что выпедшая в русском переводе книга Геккеля «Мировые загадки», о популярности которой говорил В. И. Ленин и которая, к слову сказать, возможно, в какой-то степени повлияла на научную проблематику «Детей солнца». Находясь под арестом в Петропавловской крепости, Горький просит прислать ему книги по геологии, биологии, физиологии, в частности, книгу Ферворна «Общую физиологию». Факт этот, любопытный сам по себе, приобретает особое значение в связи с разговором о том интересе, который проявлял Горький к естественным наукам в период знакомства с Тархнишвили. И можно ли сомневаться в том, что во время куоккальских встреч между ними завязывались оживленные беседы на научные темы. Тархнишвили, сам увлеченный, умел увлекать других и всегда, в любой обстановке, делился с окружающими золотом своих знаний. Конкретно о содержании лекций-бесед, проводимых ученым в Куоккала, или о разговорах, которые вели между собою Горький и он, к сожалению, ничего почти не известно. Можно, однако, сделать некоторые предположения. В письме к Тархнишвили Репин — этот удивительный человек, столь жадный до науки, что, будучи уже знаменитым художником, задумал поступить в университет, глубоко, по словам К. Чуковского, презиравший художников, которые до старости остаются невеждами, — Репин признается: «Все мечтаю как-нибудь похитить у Вас вечерок — послушаться интересных новостей науки».

Итак, новости науки — вот, что занимало куоккальцев в то памятное лето.

Одной из таких новостей науки, сразу заслонившей другие, в ту пору было открытие явления радиоактивности.

Тархнишвили, будучи разносторонним ученым, не мог не обратить внимания на это открытие — хотя бы в связи с физиологией. И, действительно, незадолго до встреч с Горьким он в своей лаборатории проводил опыты с радием, сразу оценив все теоретическое и практическое значение этого явления. В результате — большое количество работ о радиоактивности, причем боль-

шинство из них опубликовано в период 1904—1906 гг.¹.

Имеются многочисленные данные, говорящие о том, что и Горький тоже был глубоко заинтересован — приблизительно в то же время — последними достижениями физики. в особенности, открытием свойства материи — радиоактивности. Вскоре после куоккальских встреч, в начале 1906 года, Горький посещает в Париже лабораторию супругов Кюри и делает это не как простой турист, не «из любопытства», а как человек, хорошо сведущий в науке. «Он мне рассказывал с проникновенной благодарностью о супругах Кюри, которых лично знал, — вспоминает К. Федин. — Когда из разговоров он увидел, что я немного знаю химию, он сразу бросил популярный язык и начал великолепно, в подробностях говорить о явлениях радиоактивности элементов». А находясь в Америке, Горький знакомится со знаменитым Розерфордом, посещает и его лабораторию и вообще интересуется его работами. В 1908 году с увлечением читает книгу английского физика Сооди «Радиоактивность». Элементарное изложение с точки зрения распада атомов» и называет ее «удивительной». Даже в своих лекциях по истории русской литературы, прочитанных на Капри, — это ли не свидетельство глубокой увлеченности великого писателя проблемами современной физики? — он касался радиоактивности элементов².

Неизвестно, знал ли Горький работы Тархнишвили о радиоактивности. Но даже если они и прошли мимо его внимания, что, кстати, маловероятно, —

несомненно, во время встреч в Куоккала в числе других тем, волновавших обоих, были и научные темы, в частности, открытие радиоактивности. Беседуя с выдающимся ученым, Горький, можно сказать, получал интересующую его информацию из первых рук...

Итак, летом 1905 года в небольшом финском курорте скрестились, пересеклись на какой-то короткий промежуток времени жизненные пути двух людей — великого писателя и выдающегося ученого. Многие связывало их. Об этом было только что сказано. И еще: встречи с Тархнишвили, сыном Грузии, навели Горькому — в этом можно не сомневаться — образы той страны, в которой он сделал первый «неуверенный шаг» к вершинам мировой литературы, которую любил и навсегда запечатлел в памяти сердца.

Но, к сожалению, их встреча оказалась кратковременной. Этим только что начавшимся отношениям не суждено было развиться и, возможно, — кто знает? — перейти в дальнейшем в дружбу. Осенью Горький покинул Куоккала. В стране начинался новый подъем революции. В начале же следующего года великий писатель уехал из России. А в 1908 году не стало Тархнишвили.

И пусть знакомство Горького и Тархнишвили было недолгим и эпизодичным! В нем все равно заключен значительный интерес, ибо взаимоотношения больших людей, даже мимолетные и случайные на первый взгляд, становятся, в конечном итоге, фактом большого общественно-культурного значения.

¹ Вот названия некоторых работ Тархнишвили о радиоактивности: «О роли радиоактивных лучей в биологии и в лечении болезней», «Новости о радиации за последнее время», «Радиация и нервные акты», «Распространенность радиоактивности», «О радиации на Кавказе».

² Очень возможно, этот повышенный интерес Горького к физике и ко всем возникающим с открытием радиоактивности проблемам следует объяснить начавшимся в то время увлечениям его махизмом. Махизм, как известно, опирался на достижения современной науки, в особенности, физики, но придал им совершенно ложное, реакционное толкование в духе так называемого «физического идеализма». В пись-

ме к Горькому, разоблачая всю реакционную сущность махизма, В. И. Ленин писал: «И как раз куча виднейших современных физиков по случаю «чудес» радиации, электронов и т. п. протаскивают боженьку — и самого грубого и самого тонкого, в виде философского идеализма» (Сочинения, т. 35, стр. 58).

Махизм и богостроительство, связанное с ним, временно увлекшие Горького, сыграли в его творчестве отрицательную роль. Но это уже другой разговор. В данном случае нас интересуют не причины увлечения Горького физикой, а сам факт этого увлечения, которое, повторяю, было сильным.

Валерий ГОГУАДЗЕ,

доктор химических наук, заслуженный изобретатель Грузинской ССР

Экскурсия в органическую химию

Широко распространяет химия руки своя в дела человеческие. Куда ни посмотрим, куда не оглянемся, везде обращаются перед очами нашими успехи ее прилежания...

М. В. Ломоносов

Использование человеком химических явлений и химических свойств окружающего его материального мира так же древни, как и история образования самого человеческого общества.

По всей вероятности первым химическим опытом доисторического человека следовало бы считать добывание огня и его поддержание. Отбор из окружающего материального мира пищевых и лекарственных материалов, использование красящих веществ требовали определенных знаний в области химии. Но эти знания, эта «научная теория» древнего человека опиралась только лишь на его эмоциональные восприятия, интуицию и инстинкт. Тем не менее поражает многообразие и разнообразие химических деяний древних народностей. Данные археологических раскопок, рисунков и клинописей, сделанных на камнях, папирусах и других материальных памятниках, убеждают нас в том, что доисторический человек был знаком с приготовлением сахара, с процессами брожения, а также скисания виноградного сока, т. е. получения разбавленного винного спирта и разбавленной уксусной кислоты.

Древние народы умели готовить спиртные напитки из меда, были знакомы с пивоварением, получали золото, серебро, медь, свинец, олово, бронзу, железо и другие металлы, пользовались природной содой, а из поташа готовили стекло и керамические изделия. Они широко использовали продукты животного и растительного происхождения не только как пищу, но и как лекарства, красители; умели получать жиры, масла, крахмал, мумифицирующие, консервирующие и косметические средства; применяли растительные смолы; использовали серу и готовили зажигательные и дымовые снаряды.

С незапамятных времен в Египте для крашения применяли черную землю, залегающую у берегов Нила. Эту землю египтяне называли «ХЕМ», что означало — черное. Полагают, что впоследствии отсюда и произошло слово «химия».

Первые философские обобщения о мироздании, основанные на существовавших в те времена химических познаниях, мы встречаем в произведении индийского философа Канада (X век до нашей эры), в древней китайской рукописи неизвестного

автора VII века до нашей эры, а также во многих сочинениях греческих философов (Фалеса Милетского — VII в. до нашей эры, Анаксимена Милетского — VI в. до нашей эры, Гераклита Эфесского — VI в. до нашей эры, Эмпедокла Акраганского — V в. до нашей эры и, наконец, у Аристотеля — IV век до нашей эры).

Во всех этих сочинениях основным началом материального мира были признаны абстрактные принципы, обусловленные не более чем субъективными восприятиями органами человека тепла, влажности, сухости, холода и т. п. Вместе с тем в сочинениях Канада, а также у Анаксагора мы впервые встречаем идеализированное представление об атоме, как о неделимой бесконечно малой нематериальной составной части материи.

С другой стороны, в V веке до нашей эры возникло второе течение Левкипа и его ученика Демокрита из Абдеры, а также Эпикура (IV век до нашей эры), считавших началом материального мира материальный атом.

Демокрит своим учением об атоме на двадцать столетий предвосхитил развитие общества, хотя это учение и получило свое развитие в произведениях Эпикура, атомистика Демокрита вынуждена была уступить место старым нереальным принципам. В III веке до нашей эры в сочинении индийского ученого Каутилая приведен богатый перечень химических соединений и методов их получения, а книга китайского ученого Вей По-янга (II век до нашей эры) под заглавием «Книга об изменчивости» — первое дошедшее до нас сочинение, посвященное специально химии.

И если даже химия как отдельная научная дисциплина все еще не существовала, то все же и несовершенные химические познания с древних времен были крайне необходимы для создания философского мировоззрения о природе.

Исторические памятники свидетельствуют, что еще до нашей эры во всех крупных странах мира — Месопотамии, Ассирии, Вавилонии, Индии, Китае, Египте, Иране и др. — химии уделяли значительное внимание. Ее считали божественной наукой и зачастую занятия химией составляли привилегию жрецов и лиц высшего сословия. В знаменитом центре химической культуры античного мира Александрии, в III веке до нашей эры, химию считали священным искусством, а александрийской Академией наук химии был отведен специальный храм, названный храмом Сараписа.

После завоевания арабами Египта и Ирана в 711 году центр химической культуры переместился в Аравию, в частности, в арабскую Академию наук г. Кордова. Здесь к утвердившемуся в науке термину «химия» был приставлен арабский пре-

фикс «АЛ». Так, по предположениям, произошло новое название химической науки — «алхимия». И поскольку с античного периода до конца феодального строя в основе теории химии лежали нереальные представления о том, что всякая материя состоит из холода, огня, влажности и т. п., то и задачи и цели химиков были нереальными. Поэтому немало мучительных трудов было затрачено алхимиками на поиски философского камня или же жизненного эликсира — некоего универсального лекарства против всех болезней, избавляющего род людской «от телесных и духовных страданий». Большие усилия были направлены на поиски метода превращения неблагородных материалов в золото. Виселица и тюрьма были обычной участью алхимиков, потому что они не оправдывали надежд, возлагаемых на них властями. История знает немало печальных курьезов, связанных с деятельностью алхимиков. В материалах, опубликованных Сванте Аррениусом, мы находим сведения о том, что в IV веке в Китае алхимик Ко Хунг из киновари и минералов реалгара и аурипигмента готовил напиток, который должен был дать человеку «долгую жизнь и бессмертную душу».

Все эти мышьяковитые минералы являются сильными ядами, и в том, что четыре царя из династии Танг в поисках «долгой жизни и бессмертной души», принимая этот эликсир, поплтались жизнью, не было ничего удивительного.

Для Востока, и особенно для Индии, было характерно то, что алхимия развивалась там не в поисках средств превращения различных металлов в золото, а в создании рецептов универсального лекарства.

Тем не менее, алхимия оказала немало добрых услуг нашей современной химии. Благодаря ей были открыты серная, соляная, азотная кислоты, «царская водка», фосфор, сурьма, разнообразные соли, были улучшены методы очистки и перегонки веществ.

Органическая химия — наука, изучающая молекулы, в состав которых входит углерод. Термин этот впервые появился во второй половине восемнадцатого столетия и к тому же не в химической литературе, а в произведении романтика Новалиса.

Химикам долгое время не удавалось углеродсодержащие вещества животного и растительного происхождения синтезировать искусственным путем. Невероятные старания и усилия ни к чему не приводили, и среди химиков возникла версия о том, что существует некая жизненная сила, — *vis vitalis*, которая не подчинена человеческой воле.

Органические и неорганические вещества с самого начала изучались вместе, но впоследствии их стали классифицировать отдельно. В 1675 году в Париже прови-

зор Н. Лемери издал курс химии, где химические соединения были классифицированы по принципу происхождения неорганического, животного и растительно-го мира.

Понятия об органической химии и органических веществах в химическую литературу внес Ионс Яков Берцелиус (XIX век). С его именем связано введение в химическую практику обозначения элементов латинскими буквами и введение понятия об электрическом характере взаимной связи атомов.

Изучая историю органической химии, нельзя пройти мимо того факта, что Фридрих Вёлер (XIX век) своими первыми синтетами органических веществ — щавелевой кислоты и мочевины, полученных из углеродсодержащих химических соединений неорганического происхождения, должен был бы положить конец виталистическим взглядам. Но вёлеровские синтезы, пожалуй, лишь навели тень на виталистическую теорию, а все химии той эпохи, в том числе и сам Вёлер, еще долгое время оставались глубоко верующими в «жизненную силу».

В 1841 году в Париже впервые был издан курс органической химии, написанный Жустусом Либихом. Эта дата может условно считаться временем официального рождения органической химии.

Органическая химия как наука возникла в пору расцвета капитализма. Но идеалистическая сущность ее научных основ никак не позволяла решать те сложные задачи, которые ставила перед ней растущая промышленность. И только через 20 лет после синтезов Вёлера, когда в 1848 году Адольф Вильгельм Герман Колбе и Эдвард Франкланд синтезировали уксусную кислоту, а спустя шесть лет, Марсель Бертло синтезировал жир, — ученые-химики постепенно начали отказываться от витализма.

Однако для того, чтобы органическая химия могла ответить требованиям бурно развивающейся промышленности, необходима была четкая теория строения веществ. На протяжении двадцати лет колоссальными усилиями выдающихся умов разных стран (и в первую очередь тех стран, где промышленный капитал развивался наиболее интенсивно) были разработаны научные основы теории химического строения.

С тех пор теория химического строения постоянно совершенствуется, дополняется новыми открытиями. Она дает возможность химику, подобно инженеру-проектировщику, заранее предугадать многие из свойств синтезируемых им веществ и легко распознавать химическую структуру исследуемого им неизвестного вещества.

Выдающаяся роль в деле становления и дальнейшего развития как теории строения, так и в целом органической химии принадлежит замечательным русским уче-

ным А. М. Бутлерову, Н. Н. Зинину, А. И. Бородину (Гедеванишвили)¹, М. А. Ильинскому и многим другим. Впоследствии замечательные традиции русской химической культуры были развиты в условиях Грузии известными учеными В. М. Петриашвили, П. Г. Меликишвили, Ш. Р. Цинцадзе и другими.

С момента зарождения органической химии успехи ее на службе интересам человечества поистине триумфальны. Еще в 1846 году была синтезирована нитроклетчатка, обусловившая организацию в разных странах мира мощных производств искусственного шелка, киноленток, бездымного пороха и различных пластмасс. Тяжелый физический труд в строительной и горнорудной промышленности во многом сокращают и облегчают взрывные работы, производимые с помощью нитроглицерина, синтезированного химиками-органиками в том же 1846 году. Этот же нитроглицерин спасает и жизнь больного при приступах ангины сердца.

В ряде стран была создана промышленность синтетических красителей.

Трудно переоценить значение органической химии в медицине. В арсенале современного здравоохранения подавляющее большинство средств лечения — это продукты синтеза или же химической обработки органического сырья. Создано немало ценных препаратов, помогающих врачам вести эффективную борьбу со страшными заболеваниями — туберкулезом, менингитом, послеродовыми сепсисами, расстройством гормональных функций, рахитом, цынгой и многими другими. О результатах докладывает статистика: за последние пятьдесят лет в СССР средняя продолжительность жизни возросла от 32 до 69 лет.

Одним из первых блистательных примеров искусственного получения эффективно-го лекарственного средства против люиса был синтез сальварсана в 1910 году. С тех пор мы стали свидетелями многих выдающихся открытий: изучения строения и синтеза половых гормонов, витаминов, антибиотиков — пенициллина, хлоромидина, аурамицина, синтезов противотуберкулезных, противомаларийных и сульфамидных препаратов и многих других.

До 1934 года против кожных болезней не могли применить никакого надежного средства. Воспаление легких, менингит, послеродовые сепсисы и другие заболевания, вызванные этими бактериями ежегодно уносили во всем мире огромное число человеческих жизней, особенно в детском возрасте. Вместе с тем еще в 1911 году химиками-органиками был синтезирован белый стрептоцид. И только через двадцать лет, в поисках противотуберкулезных средств, было замечено, что белый

¹ Знаменитый композитор и химик. Автор оперы «Князь Игорь».

стрептоцид является радикальным средством против многих из перечисленных болезней.

Этот случай довольно типичен. Ряд примеров успешной реализации результатов исследования органических веществ вселяет надежду, что будут обнаружены очень доступные, простые и, быть может, давно известные биологически ценные вещества, в которых сейчас еще остро нуждается человечество.

В последнее время большие успехи достигнуты в области изучения синтеза и применения высокомолекулярных соединений, так называемых молекул-гигантов. Особо важное значение их заключается хотя бы в том, что такое высокомолекулярное соединение, как белок, обусловило начало жизни на земле и является одной из форм ее существований. Белок — это мясо, кожа, шерсть, шелк; среди молекул-гигантов следует отметить также клетчатку — основную часть древесины, бумаги, хлопка; крахмал — основу хлеба, картофеля; природный каучук и прочие вещества.

В 1899 году впервые была получена высокомолекулярная смола, названная впоследствии капроном. При этом было замечено, что одновременно образуется и низкомолекулярное вещество — капролактам, — прозрачное, бесцветное, кристаллическое. В настоящее время капролактам является сырьем для получения капрона.

До недавнего времени, искусственные пластмассы являлись неполноценными заменителями естественных материалов — натурального каучука, шелка, шерсти, кожи и т. п. Но проведение многочисленных исследований и работ по созданию новых видов полимерных материалов и улучшению качеств существующих пластмасс принесли свои плоды.

Был получен ряд новых высокополимерных соединений, обладающих такими замечательными качествами, что в настоящее время пластмассы никто уже не только не считает заменителями, а заслуженно именуют незаменимыми материалами с безграничными возможностями изменения и улучшения их качеств.

Существует более чем пятнадцать основных синтетических высокомолекулярных пластмасс, производимых в колоссальных количествах. Каждый из этих типов имеет несколько разновидностей и вариаций. Так, например, только в Советском Союзе производится более чем 20 разновидностей синтетического каучука, свойства которых в отдельных случаях практики во многом превосходят свойства каучука натурального.

Превосходные качества текстильных материалов, полученных из капрона и нейлона вряд ли нуждаются в чьей-либо рекомендации. Но кроме того, существует око-

ло двадцати разновидностей синтетического волокна, из которых получен текстиль, не боящийся моли, водонепроницаемый, огнестойкий и не требующий глажения. Недавно был построен мост без единой клепки — склеенный органическим клеем. Недалеко то время, когда одежда и обувь, сшитые нитью, станут историей. Ткани, изделия из кожи будут склеиваться высокомолекулярным клеем. Полагают, что, такая одежда будет и элегантнее и прочнее.

Однако, народное хозяйство предъявляет большой спрос как на капрон, так и на другие новые синтетические пластмассы, в основном для производства технических изделий. Высокая прочность, низкий коэффициент трения, коррозионная стойкость, несмачиваемость и многие другие качества делают отдельные виды новых синтетических пластмасс незаменимыми в машиностроении, в строительном деле и других областях народного хозяйства.

Фторопласты по своей химической стойкости превосходят золото и платину, не растворяются даже в «царской водке».

Из пластмасс созданы часы, которые не только не подвержены коррозии и видимым следам износа, но и не нуждаются в смазке.

Использованием новых кремнеорганических соединений создана возможность готовить водонепромокаемую одежду, а изделия из стеклопластика представляют новый вид легких и негорючих стройматериалов.

Но самое главное то, что использование пластмасс в народном хозяйстве приносит огромную экономическую выгоду. Только одна тонна капрона заменяет восемь тонн латуни, восемь тонн бронзы, семь тонн меди и две тонны алюминия. Одна тонна полиэтиленовых труб заменяет три тонны свинца и восемь—десять тонн стали. А если учесть еще, что производство свинца, алюминия и меди обходится во много раз дороже производства синтетических смол, заменяющих эти металлы, то ценность всех этих нововведений станет очевидной.

Широки перспективы применения новых синтетических пластмасс в медицине. Многие из них, например, полиэфирные смолы обладают свойством приживаться к организму. Пластмассы стали материалом для изготовления кровеносных сосудов, пищевода, мочевого пузыря, искусственных ребер, суставов, отдельных частей хряща и кости. Из акриловых смол делают хрусталики глаз. Пластмассовыми пластинками успешно заменяют поврежденную барабанную перепонку в ушах, а пористой пластмассой латают каверны в легких.

Симфонией третьего чувства называют сейчас парфюмерную продукцию. С древних времен душистые вещества ценились наравне с золотом и были достоянием лишь представителей имущих классов.

Органическая химия вторглась в эту

область. Благодаря совершенствованию методов выделения душистых веществ были удешевлены не только природные пахучие вещества, но и разработаны методы синтетического получения составных частей этих масел. Искусственно созданы основные элементы масел, благодаря которым точно воспроизводятся запахи розы, ириса, мускуса, амбры, лимона, ванили и многих других. В некоторых случаях были синтезированы вещества, не входящие в состав натуральных эфирных масел, но абсолютно идентичные их запаху. Например, был синтезирован ионон, не содержащийся в эфирном масле фиалки, но точно воспроизводивший ее запах. Многие искусственные вещества проявили запахи, не имеющие аналогий в природе, но вместе с тем отвечающие высоким эстетическим требованиям.

Трудно представить какую-либо область практической деятельности современного общества, куда бы в той или иной степени не вторглись достижения органической химии.

В развитии химии в целом и в том числе органической химии значительный вклад вносит и грузинская наука. Научно-исследовательские институты с разными химическими профилями и многочисленными высококвалифицированными кадрами решают важные научные проблемы. Труды этих Институтов находят признание как в Советском Союзе, так и за его пределами. Они оказывают существенную помощь нашей промышленности. Нефтеперегонный завод и химико-фармацевтическое производство в Батуми, бумажный комбинат в Ингури, производство сахара в Агаре, производство электролитического марганца и ферромарганца в Зестафони, ряд керамических и силикатных производств, размещенных в различных районах республики, цементные заводы, металлургический и азототуковый комбинат в Рустави и многие другие являются ярким подтверждением того, что Грузинская ССР уверенно вступила на широкую дорогу развития химической промышленности и культуры.

В связи с этим за последнее время сильно вырос интерес к вопросам химии. Сейчас трудящиеся нашей республики ждут большого, если так можно выразиться, химического праздника — пуска мощных химических объектов — производства капролактама и капрона в г. Рустави.

Усилиями химиков, создан новый материальный мир, не существовавший до сознательного влияния человека на природу. Число новых органических веществ, полученных химиками только за последние сто с лишним лет, превосходит 3 миллиона. К этому нужно добавить полмиллиона новых неорганических веществ, полученных химиками за тот же период. Многие из этих веществ производятся на заводах разных стран мира ежегодно в количестве нескольких десятков и сотен тысяч тонн. Химики-органики всего мира ежедневно в среднем получают около ста не существовавших ранее в природе новых химических веществ. С помощью этого второго материального мира, созданного химией, люди совершают чудеса: выходят победителями в борьбе со страшными болезнями, влияют на рост и урожайность растений, создают красящие вещества, медицинские препараты и многое другое. Вместе с тем, этот второй материальный мир стимулирует бурное развитие металлургии, электротехники, радио, телевидения, вторгается в строительство грандиозных зданий, мостов и в покорение космического пространства.

Понятно поэтому, что Коммунистическая партия, Советское правительство уделяют такое серьезное внимание химии, ее развитию в нашей стране. Свидетельство тому хотя бы недавно состоявшееся Закавказское совещание по вопросу дальнейшего развития химической промышленности и химизации народного хозяйства, а также тот факт, что предстоящий очередной Пленум ЦК КПСС, как сказал тов. Н. С. Хрущев на июньском Пленуме ЦК партии, будет посвящен развитию химической промышленности.

Глазами друзей

Каждый год Советский Союз посещают иностранные туристы. Естественно, что многим из них по возвращении домой хочется рассказать своим соотечественникам о великих свершениях победившего социализма и о том впечатлении, которое произвел на них советский народ.

За границей выходит много книг о Советском Союзе. Порой это гнусные пасквилы, продиктованные непримиримостью к социализму и в корне извращающие нашу действительность. Но в основном — это написанные с любовью книги друзей, правдиво отражающие нашу жизнь.

Немало таких книг написано и о Грузии.

Три года назад в нашей республике побывала известная болгарская журналистка, заместитель главного редактора журнала «Болгаро-советская дружба» Евгения Киранова. Результатом этой поездки явилась небольшая книга «Древняя и вечно молодая Грузия», вышедшая в Болгарии в 1961 году. Это правдивый очерк, охватывающий большой исторический период в истории Советской Грузии со времен установления в ней Советской власти и до наших дней. В книге много интересных находок, использован большой статистический материал; совершенно очевидно, что автор не просто проехал по Грузии, довольствуясь мимолетными впечатлениями, а досконально изучил ее историю и культуру.

«Грузия — страна небольшая, но природа ее великолепна и пленительна, а гостеприимство даже случайно встреченных людей на редкость теплое и сердечное, —

пишет Киранова в предисловии к своей книге. — Древняя страна, превращенная за 40 лет существования в ней Советской власти в прелестный цветущий край, она является примером огромных возможностей, которые открывает перед человечеством социалистический строй.

Мое пребывание в Грузии было непродолжительным, но я считаю, что и этого вполне достаточно, чтобы во мне родилось к ней чувство любви и уважения. Талант и трудолюбие грузин, уверенность и упорство, с которыми они в единой братской семье советских народов строят коммунизм, — восхищает».

Три раза побывал в Грузии венгерский писатель, историк литературы и переводчик Дьердь Радо. Наша республика и ее культура глубоко заинтересовали его, и он начал изучать грузинский язык, чтобы переводить грузинских поэтов с оригинала.

За последние годы Радо перевел на венгерский язык ряд произведений Бараташвили, Чавчавадзе, Церетели, Леонидзе, Г. Абашидзе, Нонешвили и других. В настоящее время вместе со своим другом — венгерским историком Лайошем Тарди, большим любителем и знатоком грузинской истории, он готовит к изданию записки венгерских путешественников о Грузии, начиная с XVII века, а также составляет библиографию всех произведений грузинских писателей, переведенных на венгерский язык.

Книга путевых заметок Д. Радо «От белых ночей до Черного моря» написана в 1961 году под впечатлением поездки по Советскому Союзу вместе с неизменным

спутником писателя — его женой Мартой Радо. Современную действительность Радо воспринимает в глубокой связи с историческим прошлым и культурными традициями страны и поэтому видит и замеча-

ет в ней многое, что может ускользнуть от внимания обычного путешественника.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей отрывки из книг Евгении Кирановой и Дьердя Радо.

Евгения Киранова

Тбилиси

Красоту Тбилиси трудно передать обычными словами. Лишь талантливому художнику великолепным разнообразием красок под силу показать всю прелесть грузинской столицы и лишь грузинские песни способны воспеть ее душевную теплоту.

Высокий обелиск современной формы еще при въезде в Тбилиси напоминает, что его история насчитывает 1500 лет. И все же он удивительно молод и жизнерадостен, этот город.

Всюду поражает обилие цветов и в связи с этим я не могу удержаться и не рассказать об одном из «чудес» Грузии — 86-летнем мхетском цветоводе Михаиле Мамулашвили.

Его сад напоминает поистине сказочный праздник цветов. Растения самых разнообразных видов, расцветок и в необычайном множестве — розы, кактусы, папоротники, цикламены. Встретила нас дочь цветовода Пелико Мамулашвили. С ней мы прошли по тенистым цветущим аллеям этого огромного парка. Все здесь было необычно и поражало. Некоторые цветы были высажены в старинные глиняные кувшины, другие в раковины, плоские или фигурные тарелки, третьи — на клумбах.

Глядя на это красивое и оригинальное оформление, невольно думаешь о том, как мы у себя дома иногда совершенно непростительно высаживаем красивые цветы в обыкновенный конусообразный горшок. А ведь посмотрите — немного оригинальности, выдумки — и совершенно другое впечатление.

Потом мы уселись на деревянной скамейке в тени деревьев и попросили Пелико немного рассказать об отце. Она улыбаясь и рассказывает:

— Любовь к цветам у Михаила Мамулашвили появилась еще в детстве. И выращивает он их всю жизнь. Но в условиях царской России это занятие не приносило ему ничего, кроме огорчений. Его считали просто бездельником. Однако страстный цветовод продолжал

любимую работу в труднейших условиях. Теперь цветы и декоративные растения, которые он вырастил и которыми озеленил парки, улицы и целые города, принесли ему народную благодарность и славу. Советская власть оценила большую и полезную деятельность Михаила Мамулашвили и присвоила ему звание заслуженного деятеля искусств Грузии.

Входим в кабинет Мамулашвили. Но это скорее парк, чем обыкновенный кабинет, столько здесь цветов. Привлекает внимание книга посетителей. Каждая ее страница говорит о большом признании таланта старого цветовода. Свои отзывы оставили в ней самые различные люди — грузины и русские, венгры и немцы, египтяне и французы. Последние записи были сделаны танцорами из американского балета и делегацией Кубы. Но все эти слова, написанные на различных языках, и по-разному выражая чувства, говорили примерно одно и то же: вы вносите в жизнь людей красоту, без которой вообще немислимо существование. Спасибо Вам.

Но вернемся к Тбилиси. Человек может тысячу раз пройти по прекрасному центральному проспекту Руставели, но у него никогда не исчезнет желание сделать это еще хотя бы однажды. Проспект очень красив с его зелеными платанами и чудесным ансамблем самых разнообразных зданий. Здесь вы не найдете что-либо скучное, однообразное, нет и необдуманных, выпадающих из общего ансамбля построек. Это, так сказать, центр города, его сердце. Кроме маленькой церквушки и роскошных, хотя и небольших парков, здесь расположены почти все важнейшие административные и культурные учреждения грузинской столицы: Дом правительства Грузинской ССР, здание Грузинского филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Государственный музей Грузии, театр оперы и балета имени Палиашвили, Государственный драматический театр имени Руставели.

вели, Дворец пионеров, художественная галерея, почтамт, кинотеатры и многие, многие другие. Почти все эти здания выстроены в годы Советской власти, единственной власти, которая за всю многовековую историю Грузии сумела создать талантливому грузинскому народу все условия, необходимые для раскрытия его возможностей, для достижения тех заветных вершин почти во всех областях науки, литературы и искусства, которые теперь прославили республику на весь мир. А в самом конце проспекта возвышается памятник Шота Густавели, человека, чье имя носит проспект, великого грузина, мыслителя, поэта, который еще в XII веке первым в мировой литературе воспел мир и дружбу между народами.

В новом социалистическом Тбилиси я видела многочисленные высшие учебные заведения, студенческий городок и целый ряд других учреждений. Сегодня в республике насчитывается около четырех миллионов человек и из них 43 тысячи студентов. Три тысячи кандидатов и докторов наук ведут плодотворные исследования буквально во всех отраслях современной науки, включая ядерную физику, электротехнику, телемеханику и многие другие.

В ноябре 1959 года близ Тбилиси начал работу первый в республике атомный реактор. На нем проводят свои исследования представители различных отраслей науки — биологи, физики, химики, медики и другие. Здесь работают ученые всего Закавказья.

В Тбилиси живут и трудятся видные грузинские ученые: академик Н. Мусхелишвили, президент Академии наук Грузинской ССР; академик И. Бериташвили, работающий в области физиологии человека и животных; академик А. Джанелидзе, основатель грузинской геологической школы, и многие другие.

В 1957 году начал работать тбилисский телецентр.

Хорошие фильмы снимаются на киностудии «Грузия-фильм». «Лурджа Магданы», «Чужие дети», «Мамлюк» и другие грузинские картины с большим успехом демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

За сорок лет Советской власти достигла своего расцвета грузинская народная и классическая хореография. С интересом и восхищением всегда принимаются зрителями грациозные темпераментные грузинские народные танцы. В Грузии сотни самодельных танцевальных кружков, десятки ансамблей песни и пляски, но самой большой популярностью пользуется известный во всем мире Ансамбль народного танца Грузии.

В 1936 году на сцене тбилисского оперного театра замечательным грузин-

ским танцором и балетмейстером Вахтангом Чабукиани был поставлен первый национальный балет «Горда», музыку к которому написал Балаучишвице. Целиком основанный на народном фольклоре, он обогатил классический танец элементами грузинской народной хореографии. В его основу легли также и совершенно новые танцевальные движения, созданные непревзойденным мастером Вахтангом Чабукиани. Однако истинным шедевром грузинского балетного искусства, о котором с одинаковым восторгом говорят в Тбилиси, в Москве и за границей, оказался поставленный В. Чабукиани балет «Отелло» (композитор А. Мачавариани). В этом спектакле поистине сполна отразились дух и сущность гениального Шекспира. А Вахтанг Чабукиани за постановку балета и исполнение главной роли удостоился высокого звания лауреата Ленинской премии.

Унаследовав огромное национальное богатство прошлого, грузинская советская литература сейчас вместе с другими братскими литературами успешно выступает на идеологическом фронте за претворение в жизнь прекрасных идей коммунизма. Широко известны и читаемы как у себя на родине, так и во всем Советском Союзе, видные грузинские прозаики и поэты — М. Дважахишвили, Л. Киачели, К. Гамсахурдиа, К. Лордкипанидзе, С. Квдиашвили, А. Кутатели, А. Велишвили, Т. Табидзе, Г. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиквани, И. Абашидзе, К. Каладзе, Р. Маргиани, И. Нонешвили и многие, многие другие.

В столице Советской Грузии много индустриальных предприятий, которые выросли за годы Советской власти. Среди них — вагоноремонтный, авторемонтный, станкостроительный и электровозостроительный заводы, завод сельскохозяйственного оборудования, приборостроения и многие другие. Высоко развиты также и предприятия легкой промышленности: текстильная, чайная и табачная. За годы Советской власти город Тбилиси стал крупнейшим промышленным центром Грузии.

Год от года все богатеет и хорошеет древняя грузинская столица. Незабываемый вид открывается на нее с горы Мтацминда. Каждый вечер фуникулер и канатная дорога поднимают на эту гору сотни и сотни людей, спешащих отдохнуть в ее большом парке, посидеть в роскошном ресторане или просто полюбоваться сверху на свою древнюю красоту, простирающуюся вдоль полноводной Куры на десятки километров. Но Мтацминда не только место веселья и прогулок для тбилисцев. В первую очередь это место, глубоко и искренне почитаемое каждым культурным грузин-

ном. Ведь именно здесь, в пантеоне монастыря святого Давида покоятся тела выдающихся грузинских писателей, поэтов, композиторов, актеров и видных общественных деятелей. Здесь покоятся Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели и Важа Пшавела... Здесь находится могила великого русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова, на могиле которого вдовой его, Ниной Чавчавадзе, высечены слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».

Как-то перед самым отъездом вечером, спускаясь с фуникулера в город, мы вдруг совершенно неожиданно окунулись в волнующееся людское море сверкающего города, и мне почудилось, будто я у себя дома и вообще никуда не уезжала. Это было замечательное ощущение, и я его никогда не забуду. Оно оставило во мне навсегда желание и даже, если хотите, потребность слова хоть разок увидеть древнее, но вечно молодое жизнерадостное сердце Грузии — город Тбилиси.

Дьердь Радо

Вверх по Военно-Грузинской...

...Мы ехали по Военно-Грузинской дороге с поэтом Григолом Абашидзе. Григола Абашидзе я знаю с 1949 года — томик вышедших тогда в его переводе стихов Цетефи, который мне подарил Леонидзе, хранится у меня до сих пор. Затем Абашидзе перевел «Витязя Яноша» и я получил эту книгу от него самого с автографом.

Итак, вверх по Военно-Грузинской дороге!

Пригород Тбилиси похож на выезд из Будапешта по венской дороге. Потом дорога все время идет по берегу Куры, пока перед нами не появляются строения гидроэлектростанции: мы добрались до места, о котором Лермонтов писал в поэме «Мцыри».

Монастырь стоит там и сегодня, спустя двенадцать десятилетий после того, как был написан «Мцыри», и не только пешеход — автомобильный «бродяга» тоже видит высоко на склоне горы сводчатый храм, а внизу, у края дороги, пенясь и шумя, сливаются две реки.

Мы покидаем Куру, которая течет на запад, и едем теперь вдоль Арагви на север. Собственно говоря, Военно-Грузинская дорога начинается здесь. Отсюда она уходит на север почти на двести километров...

Но всего несколько минут, и мы уже в первой древней столице Грузии — городе Мцхета.

Окруженный могучими стенами, в квадратном церковном дворе стоит собор Свети Цховели. Мы входим в храм, и нам выпадает на долю грузинский вариант исторических впечатлений, на-

поминающих те, с которыми мы столкнулись, обходя маршруты, отмеченные могильными памятниками русской истории в Киеве, Москве и Ленинграде... Мы стоим перед прахом грузинских царей; многих сынов династии Багратидов! Печальное и торжественное настроение: полный контраст залитого солнцем церковного двора и горного края за крепостными стенами, где кипит жизнь. Но тут же находится музей и мы сразу еще глубже окунаемся в прошлое. Согласно легенде, храм построен еще в IV веке, на том самом месте, где была найдена привезенная сюда одежда Христа. Археологи извлекли здесь на свет божий столько древних орудий, украшений и оружия, что перед нами с поразительной полнотой воскрешается жизнь человека доисторической эпохи. С незапамятных времен жили люди в этом древнем поселении, и до конца IV века, до основания Тбилиси, Мцхета была грузинской столицей, но царей погребали в этом святом месте и позже.

Какой живописный край эта долина! Когда-то я уже видел нечто подобное. Но сейчас долина, простирающаяся от Дёмёша к Добогу, кажется маленькой игрушкой, а сказочно дикая, извивающаяся дорога, ведущая на хребет Лесных Карпат — мое военное воспоминание — также представляется незначительной рядом с Военно-Грузинской дорогой.

Речная долина залита солнцем. Мы проезжаем через Душети и Анагури, останавливаемся у придорожного источника, спускаемся на берег Арагви, на покрытую щебнем пойму.

По обе стороны дороги, на окрестных

вершинах, то и дело возникают развалины крепостей, храмов и монастырей — свидетелей средневековой Грузии, а на зеленющих горных склонах — точь в точь «альпийские» деревеньки.

Потом дорога становится совсем узкой, поднимается высоко над рекой, и мы входим в «сердце» Кавказа. Удивительно, какая роскошная растительность покрывает отвесные и даже свисающие над нами скалистые стены, белый камень лишь кое-где пробивается сквозь густую зелень.

Наконец наша машина сворачивает на маленькую подъездную дорогу и останавливается у горной гостиницы. Мы — в Пасанаури.

На вершшке огороженной эстрады помещается только стол и пять стульев. Григол Абашидзе тамада. Мы пьем, очень вкусно едим, и я учусь у него искусству говорить тосты.

Потом вместе вспоминаем встречу с Георгием Леонидзе в Институте литературы.

Институт истории литературы Академии наук Грузинской ССР носит имя Шота Руставели и находится у подножья Мтацминда, в изыском квартале, так напоминающем тихие улицы Будапешта.

Нас ведут вверх по лестнице, дверь открывается, и навстречу выходит высокий седовласый мужчина с фотографией в руке.

Георгий Леонидзе значительно поседел после нашей последней встречи; на фото, которое он держит в руке, серебристые нити лишь кое-где тронули его волосы. На снимке мы стоим рядом в Будапеште в 1949 году, у памятника Петефи, столетие со дня смерти которого тогда отмечалось:

Леонидзе — знаменитый поэт и кроме того директор Института истории литературы. Мы говорим о прошлом и будущем, об известных и пока лишь исследуемых связях наших литератур. О венгерских переводах Руставели, о венгерских путешественниках, поселившихся в Грузию, о том, как встречаются в Венгрии грузинскую советскую литературу... И то и дело упоминается имя, одинаково известное и дорогое каждому из нас: Михай Зичи.

У нас в Венгрии и не знают, как любят в Грузии этого венгерского художника, самого известного иллюстратора эпоса Руставели. Он приехал сюда по просьбе одного русского издательства, чтобы собрать материал для иллюстраций кавказских поэм Лермонтова, и во время пребывания здесь организовал на сцене серию живых картин по эпосу Руставели...

На обратном пути перед Мцхета наша машина сворачивает с Военно-Грузинской дороги налево, и мы несемся по

холмистой местности к идиллическому саду. В саду двухэтажный дом, когда-то скромный, но красивый замок, а сегодня музей. Замок называется Сагурамо, а его прежним хозяином был Илья Чавчавадзе.

Илья Чавчавадзе — гордость грузинской литературы, поэт и прозаик, прогрессивный политический деятель, жизнь которого оборвала пуля наемника царской полиции (по пути сюда нам показали место, где убийца остановил экипаж Чавчавадзе).

Старинный господский дом весь полон словно «живым» хозяином. Вещи поэта, его библиотека — все это как бы сближает нас с ним. Повсюду множество портретов: его родственники, друзья, и те, кого он любил. Вдруг мы заставляем перед одним портретом. Неужели ошибка? Нет, надпись тоже удостоверяет память — это Лайош Кошут. А под надписью — слова Чавчавадзе о нем: «Истина никогда еще так гневно не гремела в этом мире», — то есть в венгерской освободительной борьбе. А дальше мы узнаем, что писал о Кошуте наш первый грузинский переводчик Акакий Церетели: «Кошут — идеал каждого сознательного грузинского патриота».

Вокруг дома — роскошный сад. Здесь гулял поэт, здесь он сидел на скамье, отсюда глядел далеко, в долину, на волшебный пейзаж...

Накануне нашего отъезда в Западную Грузию мы решили еще съездить в Телави и Цинандали.

Дорога туда долгая. Нам пришлось выехать утром, мы почти не останавливались и все-таки шел уже третий час, когда мы добрались до намеченного пункта.

Пейзаж все время меняется: то мы несемся по холмистой местности, то дорога ведет нас между гор. А в глубине оврага останавливаемся у источника.

После непродолжительного отдыха поездка продолжается. Проезжаем через несколько селений, названия которых известны каждому, кто когда-либо знакомился со знаменитыми винами Советского Союза: «Гурджаани», «Мукузани»... А там, где начинается Цинандали, — сворачиваем с шоссе и по великолепной аллее подъезжаем к широким садовым воротам. За ними замок: он больше и великолепнее, чем в Сагурамо.

Его история тоже связана с Чавчавадзе, но с другим, и кого я ни спрашивал, никто не знал, связывало ли что-нибудь, кроме общей фамилии, эти две семьи.

Владельцем Цинандали когда-то, в первой трети прошлого века, был Александр Чавчавадзе. Этот необычайно красивый мужчина, жизнь которого изобиловала приключениями, был поэтом.

офицером и дипломатом, — документы о его многосторонней деятельности хранятся в замке, который так же, как и сагурамский, стал музеем.

Но здесь, в Цинандали, все богаче. Стенды и архивы музея хранят много интересных экспонатов, связанных с русской культурой. Ведь дочь Александра Чавчавадзе — Нина была женой великого Грибоедова.

Мы ходим по аллеям, где влюбленный Грибоедов провел самые счастливые дни своей жизни... Как не хотелось ему уезжать в Персию! Как хотел он оставить государственную службу и поселиться здесь, в Грузии, со своей любимой женой! Но мечта поэта осталась неосуществленной. Он уехал — и его убили.

В Телави мы осматривали местный музей.

Наше внимание привлекает знакомая картина! Ну, конечно, это произведе-

ние Михая Зичи, единственная сохранившаяся иллюстрация «Витязя в тигровой шкуре» знаменитого венгерского художника. Собственно говоря, она иллюстрирует не сам эпос, а предисловие к нему. Шота Руставели на коленях перед троном подает свою поэму царице Тамар. Говорят, в одном из дворян, которые видны на картине, художник изобразил самого себя. Однако это не удалось проверить, так же как и то, что картина, хранящаяся в Телави, является не копией, а оригиналом произведения...

В прощальный день, на прощальном обеде я научился древней форме грузинского приветствия:

«Гамарджвеба!»

Гамарджвеба — победа. Утром следующего дня мы уже покидали Грузию.

«Гамарджвеба!» — кричали мы из окна медленно движущегося поезда. Наши друзья с улыбкой махали нам вслед.

Подписано к печати 28 сентября 1963 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70 × 108^{1/16} мм.

Заказ № 981

Тираж 2500

УЭ 06932

Цена 40 коп.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

ქურნალი „ლიტერატურნაი გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნება“

Типография издательства ЦК КП Грузии «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова,
Тбилиси, проспект Руставели, 42.

Цена 40 коп.

ИНДЕКС

78117



ქართული
ნაციონალური
ბიბლიოთეკა